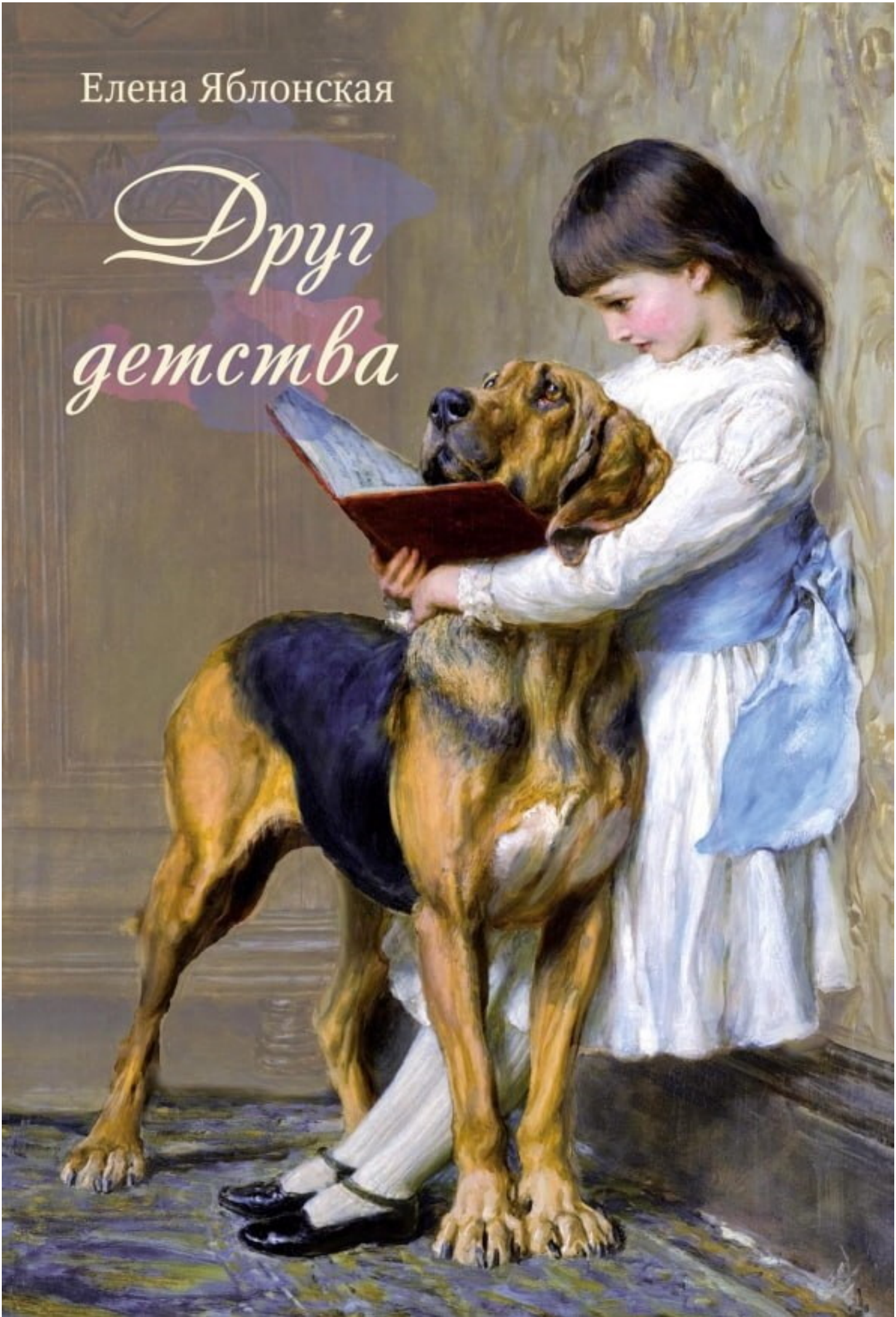
Елена Яблонская

Друг детства



Елена Яблонская

Друг детства

«У Никитских ворот»
2020

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос=Рус) 6.4

Яблонская Е. Е.

Друг детства / Е. Е. Яблонская — «У Никитских ворот», 2020

ISBN 978-5-00170-279-5

Новый сборник повестей и рассказов Елены Яблонской, на первый взгляд, о животных – собаках, кошках, ежах… О дружбе ребёнка, а потом и взрослого человека с животными. «И вот наконец я пишу о них, но – странное дело! – думаю при этом о людях», – сознаётся автор. Да, повествование, охватывающее значительный временной отрезок, с конца шестидесятых годов двадцатого века по наши дни, прежде всего о людях. О ялтинском детстве автора, об одноклассниках, о студенческой юности в московских общежитиях, о весёлой, хотя и нелёгкой жизни молодых учёных в «эпоху перемен» в вымышленном, но легко узнаваемом подмосковном академгородке Курослеповка… И ещё – о времени. О том, как всё счастливо возвращается на круги своя: постаревшие друзья детства смотрят на своё «лучшее на свете, самое синее в мире», совсем не изменившееся море и понимают, что и они – всё те же.

УДК 82-3
ББК 84 (2Рос=Рус) 6.4

ISBN 978-5-00170-279-5

© Яблонская Е. Е., 2020
© У Никитских ворот, 2020

Содержание

Третий ёж 6
Неделя счастья 10
Друг детства 14
Пушок 14
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Елена Яблонская
Друг детства

Моим внукам Алисе и Ярославу

Повести, рассказы

В оформлении обложки использована репродукция картины Чарльза Барбера «Учим уроки»



© Яблонская Е.Е., 2020
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2020

Третий ёж

1

Ежи не были редкостью в южном городе, где мне посчастливилось родиться. И до сих пор в покрытых сосновыми лесами обступивших город горах, в многочисленных скверах и санаторных парках ёжикам есть где разгуляться. Однако первого своего ежа я обрела не в лесу и не в парке, а на самой что ни на есть «городской» улице. Ныне она зовётся, как и до революции, Екатерининской, а тогда была улицей Литкенса. Кто такой Литкенс – не знаю до сих пор, наверное, какой-нибудь революционер. Екатерининская-Литкенса славится невероятным количеством канализационных люков. Буквально на каждом шагу, через метр-полтора натыкаешься на старинную прямоугольную решётку или чугунный кругляш с выпукло отчеканенными надписями. Если приглядеться, можно прочитать, что данное металлическое изделие произведено таким-то товариществом в 1907 или в 1896 году. А мне даже приглядываться и наклоняться не требовалось, потому что было мне пять лет от роду, и читала я всё, что попадалось на глаза.

Ёж деловито семенил от одного люка к другому и весь, до последней иголочки, графически чётко выделялся на ярко-белом пятне асфальте в пересекающихся лучах фонаря и луны. При моём приближении ёж, как ему и положено, свернулся, но то ли сам не счёл нужным меня колоть, то ли был так молод, что его колючки ещё не приобрели необходимой жёсткости. Во всяком случае, я голыми руками несла серый шар с любопытно высовывающимся чёрным носиком и такими же бусинками глаз. Благо дом совсем рядом.

Ёжика поселили на деревянной, обвитой глицинией веранде. Вернее, он сам там поселился, потому что мог беспрепятственно ходить по всей квартире и выходить при желании во двор. Ему у нас, несомненно, понравилось. Любимым блюдом ёжика была вермишель с творогом или просто с маслом. Вообще-то её готовили для меня, а я щедро делилась с ёжинькой. Мы так и звали его – Ёжинька. Обыкновенно Ёжинька лежал на спине у меня на коленях и прилежно разевал рот. Я отправляла туда вермишель ложку за ложкой, иногда если мама спохватывалась, то одну-другую ложку проглатывала сама. В отличие от меня, Ёжинька готов был поглощать вермишель бесконечно. Когда объём съеденного начинал превышать его небольшой желудок, заглотанная вермишель вываливалась на серый животик. Ёжинька, ловко изогнувшись, подбирал её язычком и снова жадно раскрывал рот. Трапезы обычно заканчивались угрозами в мой адрес: и сама не ем, и причиняю вред здоровью животного!

Хотя ёжика кормила я, больше всех он, кажется, любил папу. Долгими зимними вечерами папа с газетой, положив ногу на ногу, сиживал в кресле у журнального столика под торшером. Ёжинька забирался под брючину на папину ногу и, замерев, сидел так часами. Чтобы не беспокоить Ёжиньку, я подносила папе чай, книгу или свежую газету взамен прочитанной. Мы с папой как-то провели исследование: обмерили Ёжиньку с головы до ног и сравнили результаты с данными Брема. Оказалось, наш ёж полностью соответствует среднестатистическим параметрам – и длина его, и ширина, и окрас, а также длина лапок и крохотного хвоста полностью совпали с научными! Как я теперь понимаю, удивительным было совсем другое: ёж милостиво разрешил себя измерить. Но далеко не всем позволялось фамильярничать. Мама как-то вздумала, держа Ёжиньку на руках, почесать его под подбородком, это место отличалось особо мягкой светло-дымчатой шёрсткой. Наш милый Ёжинька цапнул её за палец! Зубки оказались очень острыми.

Ёжинька прожил у нас не менее двух лет. Помню, когда случилась трагедия, я уже ходила в школу. Соседи снизу иногда жаловались, что ёж мешает спать, по ночам топает по деревянному полу веранды. Но вот прошло несколько дней, Ёжинька не появлялся. «Сегодня топотал?» – с надеждой спрашивала я соседку. «Нет, больше не топочет», – расстроенно говорила тётя Вера. Недели через две, когда я рылась в стоявшем на веранде бабушкином сундуке и невзначай оторвала взгляд от какого-то платья с рюшами, то увидела тёмное пятно на буровато-серой тряпке, что висела на спинке кровати. Собственно, это была не одна кровать, а несколько разобранных – составленных в ряд железных спинок и панцирных сеток. Я десятки раз проходила мимо них в поисках Ёжиньки и ничего не замечала. Ёжинька, видимо, лазил по ним, зацепился колючками за тряпку, пытаясь высвободиться, просунул голову между прутьев и задохнулся. Я заорала. Прибежала мама и тоже заревела в голос. Пришёл папа – было воскресенье, – молча снял с кровати крохотное тельце, вместе с тряпкой завернул в газету и вынес на улицу, в мусорный бак. В тот день он не сказал нам ни единого слова, а мы с мамой прорыдали до позднего вечера.

2

Вторая история про ежа веселей, а я на десять лет старше. Десятый класс, середина мая. Нас, видимо, не слишком волнуют грядущие выпускные экзамены и поступление в вузы, потому что мы с одноклассниками постоянно находим время и поводы для разного рода безобразий. Вот и вчера Володька Граматунов пригласил всех к себе кататься на мопеде и ловить ежей. Он живёт на горе возле старинного замка, вокруг «графских развалин» и Володькиного дома – запущенный парк. На приглашение откликнулись только мы с Мишкой Пестеревым. Я – из любви к ежам, Мишка – из любви ко мне. Приходим. Володьки нет. «Катается», – говорит Володькина мама и смотрит с неодобрением. Мопед Володька собрал себе сам из запчастей, найденных в отцовском гараже. Автоделу он отдаёт неизмеримо больше времени и души, чем учёбе.

На другой день мы набрасываемся на Граматунова с упрёками. «А это кто такой?» – говорит он и вынимает из-за пазухи ежа. Как и Ёжинька моего детства, Володькин ёж и не думает колоться, поглядывает на столпившийся вокруг десятый «А» с нескрываемой симпатией. Кто-то помчался в буфет за молоком. Его нам выдавали бесплатно. Мишка, большой любитель молока, как-то на перемене выпивший на спор целое ведро, пошутил, что не обязан делиться.

Ёж охотно пил молоко, угощался булочками, иногда вырывался из двадцати восьми пар рук и бегал по партам. Учителя возмущались. Наша классная руководительница Лидия Васильевна отняла его и ходила с ежом на плече из класса в класс, с урока на урок. Четвёртые классы встречали их восторженным рёвом. Правда, после пятого урока она его нам вернула – не решилась явиться с ежом на педсовет. А шестым уроком у нас, как на грех, была физика.

Свирепый физик Борис Маркович потребовал: ежа немедленно удалить. Мы возражали. Тем временем ёж вырвался из Мишкиных рук и забрался под кафедру. В физическом кабинете для опытов предусмотрена раковина, под доски, скрывавшие водопроводные трубы, и забился наш ёжик, протиснулся в щель. Остаток урока прошёл в нервозной обстановке, а под конец Борис Маркич объявил, что если к понедельнику вверенный ему кабинет не будет освобождён от ежа, то он поставит Мишке в аттестат не пятёрку, а четвёрку! Это был запрещённый и довольно неубедительный приём: все понимали, что Борис Маркич поставит то, на что Мишка сдаст. А сдавать мы будем, к счастью, не одному Борис Маркичу, а комиссии, в составе которой непременно присутствует, как математик, и наша Лидия Васильевна. Но Пестерев всё равно испугался.

На другой день, в воскресенье, был мой день рождения. Утром, часов в десять, явился мрачный Пестерев – в одной руке гвоздичка, в другой топор, – сунул мне цветок и, махнув

топором в сторону школы (я жила рядом), бросил: «Пошли!» Надо ли говорить, что никаких охранников тогда и в помине не было, ни школа, ни отдельные кабинеты не запирались! Мишка быстро отодрал несколько досок и вытащил на свет божий ежа, который, похоже, и рад был, да не знал, как выбраться. Потом Пестер прибил доски на прежнее место, а я, чтобы окончательно умилостивить Борис Маркича, помыла полы. Ежа, разумеется, потащили ко мне. На кухне предложили молока, он не отказался, да ещё по собственному почину поел чего-то из кошачье-собачьей миски. Терьер Пифинька и кот Шустрик обожали друг друга и кормились совместно. «Что там у вас? Ёжинька? – позвала мама из спальни. – Дайте мне его!» Я вручила ей ежа. Папа, читавший в постели газету, внимательно посмотрел и ничего не сказал. А Пифинька, валявшийся, как всегда, поверх одеяла в ногах родителей, очень обрадовался. Шустрик в это время пропадал где-то на улице. Так я и оставила их: папу с газетой, маму с «Новым миром», кудлатого Пифиньку у них в ногах и ежа, вальяжно разлёгшегося между мамой и папой в точно такой же позе, что и Пифинька, на спине, лапками вверх. А мы с Мишкой побежали на пляж.

Когда я вернулась, папа обедал на кухне, а мама с Пифинькой и «Новым миром» по-прежнему нежились в постели. Ежа не было. «Ушёл», – сказала мама. «А Шустрик его хоть видел?» – расстроилась я, заметив кота, вылизывавшегося на подоконнике. «Почём я знаю? – отмахнулась мама. – Не морочь мне голову!» – «Ну, а ты куда смотрел? – спросила я Пифиньку про себя. – Собака называется!» Тогда я ещё не разучилась разговаривать со зверями молча, телепатически. Пифинька виновато вильнул хвостом.

3

Третий ёж появился в моей жизни, когда я стала совсем взрослой – моему сыну было восемь лет. Сын учился во втором классе, а мы с мужем работали в институтах подмосковного академгородка Куростепловка. На территории моего института, построенного прямо в лесу и обнесённого бетонной стеной и колючей проволокой, жили две косули, целая стая уток, лебедь и какие-то тетёрки в вольерах. Всю эту живность поставлял нам соседний Институт экологии и эволюции животных. Лебедь нередко подходил к проходной, и вооружённый охранник очень серьёзно говорил: «Пропуск!» Потоптавшись и издав несколько гортанных звуков, лебедь шёл восвояси к пруду, где плескались довольные жизнью, никуда не стремившиеся утки. Копытные не пытались выйти за проходную, но всё время рвались в лабораторный корпус, забегали даже на третий этаж. Уборщица вывешивала в вестибюле отчаянные объявления: «ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ! ВХОДИТ ОЛЕНЬ И ГАДИТ!»

Как-то по дороге с работы мы с коллегой встретили ежа. Судя по колючим, частью обломанным желтоватым иголкам, ёж был немолод и утомлён жизнью. При виде нас он сразу же свернулся, и взять его руками не представлялось возможным. Мой коллега сбегал в лабораторию, принёс бумажный рулон от самописца. Ежа предъявили охраннику. И хотя его, даже завёрнутого в линованную бумагу, никак нельзя было спутать с катарометром, охранник, как мы и предполагали, потребовал пропуск «на вынос материальных ценностей». Не говоря ни слова, я отступила на несколько шагов и принялась вытряхивать «материальную ценность» из свёртка на клумбу. Охранник испугался так, будто я оставляла на его попечении гадюку. «Идите, идите! – завопил. – Во народ! Шуток не понимают…»

Дома нас ждали. Мой товарищ успел позвонить и сообщить приятную новость. Для ещё одного члена семьи были приготовлены молоко, вермишель, творог, свежая капуста, морковь, яблоки, печенье и ещё какие-то, специально для него подобранные яства. Ёж, однако, не стал ни пить, ни есть, забежал в туалет и уткнулся носом в веник. Так он и стоял там, к великому огорчению нашего молодого, игривого и дружелюбного кота Тихона. Тихон многократно подходил к туалету и, оглядываясь на нас за поддержкой, подкрадывался к ежу. Ёж топорщил

колючки и злобно хрипел. Обескураженный кот отступал. Так продолжалось двое суток. Ёж не дотрагивался до угощения и, похоже, менять тактику не собирался. «Не ёж, а какой-то, прости господи… козёл!» – подытожил всеобщее разочарование глава семьи. Решено было вернуть гостя в естественную среду обитания, а то ещё помрёт с голоду. Тем более проку от него никакого, а Тихону – так и вовсе одно расстройство.

Сипящего ежа завернули в «Литературную газету» и всей семьёй, оставив на хозяйстве Тихона, отнесли в близлежащий лесок, где и выпустили на тропинку. Он не спешил уходить и, насупившись, нелюдимо взирал на нас из-под своих колючек. «Иди уже, тормоз!» – не выдержал сын, и третий ёж, шурша жухлой прошлогодней листвой, задумчиво поковылял прочь.

Неделя счастья

Они сказали:

– Смотри, Кляча, завтра только выйди, мы тебе покажем! – и кулаком погрозили. Галка кинула в меня каштаном, а самая маленькая, Светкина сестра Лёлька, высунула язык и запищала:

– Кляча! Кляча! Кляча!

Я уж и не помнила, в чём провинилась перед ними, наверное, ни в чём. Просто так уж повелось у нас во дворе, что меня обзывали «клячей», дразнили, травили… «Почему “кляча”? Ведь кляча – это просто худая лошадь, а ты вроде и не худая…» – удивлялась Ирочка Вершинина, приезжавшая из Уфы на лето к бабушке. Ирочка – единственная, кто дружил с мной, хоть и старше на три года, уже в пятый класс перешла, но уважала меня за книги. Я давно уже несколько раз перечитала домашний книжный шкаф и ходила в библиотеку соседнего санатория «Киев». Возможно, что остальные как раз за книги меня и ненавидели. Даже Радик из двадцать третьего двора, вроде неглупый пятиклассник, изредка заглядывавший к нам в девятнадцатый, порой не без удовольствия принимал участие в общей травле. В этом году Ирочка ещё не приехала из своей Уфы, может, и вообще не приедет…

Дома я решительно объявила матери, что завтра во двор не выйду: «Они меня убьют!» Мать против обыкновения не отмахнулась – «Не морочь мне голову!» – сказала спокойно: «А ты и не выйдешь. Завтра мы едем в Симферополь». Оказалось, у матери командировка, всего на неделю, но я чувствовала, что неделя может обернуться вечностью.

До Симферополя ехали на такси с материной сослуживицей. У въезда в город высился серый железобетонный параллелепипед с длинным выгнутым козырьком над входом – гостиница «Москва».

– Руки бы отрубить этому архитектору! – вздохнула сослуживица. – И как можно было сотворить такое уродство!

– А это мой брат строил! – сказала мать, испытывая явное удовольствие от того, что повергла сослуживицу в смущение.

Дядя Боря, двоюродный материн брат, в гостиничном уродстве в общем-то не был виноват. Он был архитектором-оформителем, художником, и пока гостиница строилась, не раз звонил им в Ялту, жаловался на начальство, сокрушался, что смету урезали, и сам говорил, что ничего, кроме уродства, с такой сметой выйти не может.

Дядя Боря, тётя Тамара и бабушка Надя жили в центре Симферополя в двухэтажном доме, спроектированном самими архитекторами. На второй этаж поднимались прямо с улицы по длинной деревянной лестнице. В квартире было три просторные комнаты, большая кухня, высокие потолки и широкие окна, которые мать называла «венецианскими», а главное, была ванная и центральное паровое отопление! В Ялте же приходилось топить уходящую под потолок кафельную печь-голландку, что было и тяжело, и грязно, и холодно.

Сначала меня поместили в комнате бабушки Нади, родной сестры моей бабушки Сони. Здесь приятно пахло от уютно мерцающих лампадок и стояли две аккуратные кровати со взбитыми перинами и подушками в белоснежных кружевных наволочках. Я впервые спала на перине – будто летала всю ночь в тёплых и мягких облаках. И, не подозревая, что перин в моей жизни больше не будет, на другой же день перебралась в гостиную на диван – у бабушки Нади было темновато и трудно читать (я привыкла читать в постели), а в гостиной, как и в кабинете дяди Бори, все стены, кроме одной, были увешаны полками с книгами, меж книг теснились дяди-Борины картины без рам – просто кусочки холста, иногда свёрнутые в трубочки. К четвёртой же стене в гостиной и в кабинете примыкали высокие, до потолка, вольеры с птицами.

Птицы начинали щебетать с первыми лучами солнца, что мне нисколько не мешало и даже нравилось.

Дядя Боря и тётя Тамара уходили на работу очень рано, возможно, ещё до того, как начинали петь птицы. Во всяком случае, когда я просыпалась, дяди и тёти уже не было, в «венецианские» окна заглядывали со двора поспевающие черешни и сливы, ясной рекой лилось солнце, а птицы весело пересвистывались. Бабушка Надя, как обычно, молилась в своей довольно тёмной, но зато и самой тёплой комнате. В кухне я наскоро заглатывала оставленную тётей котлету и стремглав мчалась вниз по лестнице. «Леночка, надень кофточку!» – протягивала дрожащую лапку бабушка Надя с порога своей комнатки (другой рукой она опиралась на костыль), но я её не слышала – начинался ещё один счастливый день, и нельзя было упустить ни мгновения счастья.

Этажом ниже жил новый друг Володька, сын архитектора, серьёзный, умный мальчик, перешедший в четвёртый класс. Володька обитал в волшебном подводном царстве – в самой большой комнате вдоль стен стояли огромные аквариумы. Здесь было темно, прохладно и тихо, особенно после наполненного щебетом и солнцем кабинета дяди Бори. Налюбовавшись рыбами (Володя знал всех поимённо!), бежали в соседний подъезд к Сеньке. Толстый рыжий Сенька тоже перешёл в четвёртый класс, но был второгодником, то есть старше Володи на год, а меня – на целых три. Сенькина бабушка – я так и не узнала, какое она имела отношение к архитекторам – держала кроликов. Кролики сидели в деревянных ящиках из-под персиков и выгодно отличались от птиц и рыб тем, что их можно было доставать и гладить. Навозившись с кроликами, бежали уже втроём к нам слушать птиц, потом снова к Володе смотреть на рыб… И так целый день и, конечно, всё время болтали. О чём? Став взрослой, я пыталась вспомнить, но ничего не вспоминалось, всё тонуло в ощущении огромного, неизбывного, всепоглощающего счастья. Набегавшись за день, я и читать-то незаметно для себя почти перестала. Здесь, у дяди и тёти, я вдруг впервые за свою восьмилетнюю жизнь перестала быть «клячей», а также непрерывно читающим «ненормальным ребёнком», как величали меня материны приятельницы, а стала тем, кем была на самом деле, – обычной маленькой девочкой.

Местные девчонки тоже, разумеется, плели бесконечные интриги и всё время кого-то травили, но ко мне отнеслись снисходительно, быть может, потому, что уважали дядю Борю и тётю Тамару, или просто переключаться на ненадолго приехавшую девочку не имело смысла и интереса, а возможно, потому, что Володя с Сенькой сразу взяли меня под своё покровительство. Девчонки – все старше меня – с упоением издевались над какой-то Наташкой из соседнего двора и даже пытались привлечь меня к этому занятию, на что я, конечно, не откликнулась, но и ни малейшего сочувствия к неведомой Наташке не испытала. Счастливые люди глухи к чужим бедам.

По вечерам я проводила с бабушкой Надей атеистическую пропаганду:

– Бабушка Надя! Зачем вы молитесь? Ведь всем давно известно, что Бога нет!

– Кто тебе сказал?

– Бабушка Соня, – врала я.

Я ненавидела ложь, но считала нужным идти на жертвы в интересах научного атеизма.

– Соня не могла такого сказать! – бабушка Надя гневно трясла седыми кудельками.

Её старшая сестра Соня действительно ничего такого не говорила, только рассказывала, как они, две сестры и три брата, росли в украинском селе Войтовка в семье священника, и какое это было – до революции – золотое время. Я знала, что моя родная бабушка в Бога хоть и верила, но в церковь ходить перестала после того, как её мать-попадья умерла от тифа в тот самый момент, когда Соня молилась в церкви о мамином выздоровлении и даже уверилась в результате молитвы, что «кризис миновал» и мать будет жить. Бабушка Соня тогда решила, что Бог её обманул, обиделась и перестала с Ним общаться. «И зря, – думала я, – может, если бы не поссорилась с Богом, то её сын Коля не умер бы в возрасте восемнадцати лет, напившись

ледяной воды из ручья… “холодная вода в жаркий день”, как в рассказе Грина “Словоохотливый домовой”…» Но тут я спохватывалась, что если бы этот мой неведомый дядя Коля в далёком двадцать пятом году остался жив, то бабушка ни за что не родила бы мою маму, а значит, никогда не появилась бы на свет и я… Это невозможно было представить! «Неисповедимы пути Господни» – припоминалась вычитанная где-то фраза. Мне становилось не по себе, жутко, зябко, неловко, неуютно… Тогда я спешила вспомнить, что Бога нет, и успокаивалась.

Поговорив с бабушкой Надей, я шла в кабинет дяди Бори и заглядывалась на стоящий на столе фотографический портрет серьёзного седого старика в высоком церковном головном уборе, с многочисленными орденами на груди, тоже, по всей видимости, церковными. У старика был точно такой же удлинённый, хрящеватый, польско-украинский нос, что и у дяди Бори и его деда, протоиерея. Я знала прадеда по единственной, хранившейся у бабушки мутной фотографии, чудом уцелевшей в войнах и революциях.

– Дядя Боря, это наш дедушка? – решилась я как-то спросить.

– Нет, – улыбнулся дядя. – Это Лука Войно-Ясенецкий.

«Ясно, тоже какой-то знакомый дяди-Борин священник», – подумала я и больше вопросов не задавала. Но образ Луки Крымского незаметно слился в моём сознании с образом прадеда, и много лет спустя, увидев икону святителя Луки, я вздрогнула от неожиданности и не сразу сообразила, в чём дело.

Дня через три мне стало казаться, что я живу в Симферополе уже целую вечность, а впереди ещё такая же вечность, даже длиннее, как вдруг Володя предложил повести меня на экскурсию по окрестным дворам: «А то ты скоро уезжаешь…»

Симферопольские дворы мало походили на ялтинские. Здесь преобладали запылённые акации и серебристые тополя, никаких тебе пальм, кипарисов, инжиров, кажется, не было и моих любимых шелковиц… Но мне нравились симферопольские сухость, строгость, почти скудость. Мне всё нравилось в этом степном городе, где учились родители, где жили наши единственные родственники, всех остальных забрала война.

Мальчишки хотели повести меня на водохранилище, называемое также Симферопольским морем, а неофициально – «Симболото». Я проезжала его по дороге из Ялты – ничего так, довольно большое озеро, по плоским пустынным берегам чахлые ивы, не болото, конечно, но уж какое там море! Впрочем, я была готова идти с друзьями куда угодно и даже, если потребуется, выкупаться в Симболоте, но что-то мы туда так и не собрались, наверное, просто не успели. А я уж размечталась, расфантазировалась… Так и видела въяве, будто это на самом деле было, как сидим мы с Володей и Сенькой в лодке посреди Симболота, Сенька на вёслах, потом он, неуклюжий, делает вёслами неудачный взмах, лодка накреняется, я падаю в воду, Володька ныряет и спасает меня… В течение всего второго класса, почти веря, я буду рассказывать одноклассницам об этом никогда не бывшем случае, и фантазия эта тоже окажется первой и последней в жизни – врать я не умела и не любила.

Как я и предчувствовала, неделя оказалась вечностью. Никто во дворе уже не помнил, что мне обещали что-то «показать». Ирочка Вершинина в этом году не приехала, и я почти перестала выходить во двор, как-то не до того стало. «Клячей» меня обзывали теперь всё реже, да и то с каким-то недоумением – что это мы? Зачем? Им тоже вдруг стало не до меня. А может, они почувствовали, что я стала другой?

* * *

Я ещё не раз приеду к дяде и тёте в Симферополь, но с Володькой и Сенькой мы почему-то так никогда и не встретимся. Спустя десять лет, уже студенткой, приехав на зимние каникулы, я спрошу о друзьях детства. Дядя припомнит, что Володя с первого этажа – «Умный мальчик!» – несколько лет назад куда-то поступил и уехал, а кто такой Сенька, ни дядя Боря,

ни тётя Тамара так и не вспомнят. «Да был ли в соседнем подъезде такой мальчик? И разве в нашем дворе держали кроликов? Странно… Леночка, ты точно помнишь?» А бабушки Нади, как и бабушки Сони, давно уже не было в живых…

Друг детства

Пушок

Когда мы познакомились, мне было три года, ему – три месяца. Мы тогда долго смотрели друг на друга почти одинаковыми карими глазами – человек и собака, щенок лайки и маленькая девочка. А потом дружили семнадцать лет… А в тот наш первый, летний, мне думается, июньский день я узнала, что его зовут Пушком и что он – лайка, от дяди Миши, высокого, спортивного старика, хозяина Пушка. Хотя был ли он стариком? Дяде Мише тогда не было и шестидесяти, быть может, пятьдесят с небольшим. Но мне, трёхлетней, он, конечно, годился в деды, а главное, всего лишь пару месяцев назад умер мой родной дед, которого звали Мишей. Дед, кстати, и внешне был похож на дядю Мишу – высокий, худощавый, широкоплечий. Таким образом, дядя Миша, хозяин Пушка, как бы призван был восполнить первый пробел, образовавшийся в моей короткой жизни, чего я ещё не понимала. Разве только на уровне подсознания.

Деда своего я совсем не помню, как не помню и день похорон, которые пришлись на майские праздники. Знаю его только по фотографиям. Но запомнила голос дедушки Миши, с добрыми, взволнованными, типично интеллигентскими «старорежимными» интонациями: «Соня, Леночка, идите скорей! Холодильник провалился!» С этими странными (для тех, кто не в курсе) словами он обращается ко мне и к моей бабушке Соне, своей жене. И этот момент я помню отлично: мы сидим во второй, так называемой «маленькой» комнате, бабушка в кресле, я у неё на коленях и ем что-то из бутылочки с соской. Соска, кстати, не совсем такая, как сегодня, у моего внука Ярослава, а из грубой коричневой резины. Дед стучится к нам из другой, «большой» комнаты – я вижу и дверь, высокую, крашенную белой краской, с маленьким чёрным крючком.

Поначалу меня совершенно не занимала странность произнесённых дедом слов – вся наша семья не без странностей. И когда лет в десять я рассказала маме о моём первом воспоминании, всё дополнительно – в дополнение к общесемейным странностям, на фоне которых провалившийся холодильник мог показаться явлением вполне нормальным, – вот тогда-то всё окончательно разъяснилось.

Дед Миша, отец моей матери, во всю свою жизнь ничем не болевший, в возрасте восьмидесяти лет заразился гриппом, а грипп перешёл в воспаление лёгких, которого дед уже не перенёс. Эти болезни и породили странноватый род бреда ли, начинающегося ли старческого маразма. Дедушке Мише стало казаться, что только что приобретённый моим отцом холодильник «Днепр» проваливается сквозь пол прямиком в полуподвал, в квартиру нашего извечного недоброжелателя и завистника (по понятным причинам – он в полуподвале, а у нас-то «бельэтаж»!), а после дедушкиной смерти и прямого врага, Аркадия Карловича Воробейчика!

Интересно, что холодильник «Днепр» великолепно дожил, никуда не проваливаясь, до моих двадцати с чем-то лет, и я еле уговорила родителей сменить его на что-то более современное. Но ещё интереснее то, что дядю Мишу, хозяина Пушка, звали, как оказалось, вовсе не Мишей! Это выяснилось лет пять назад и совершенно случайно – соседи сказали. Но я немедленно забыла его настоящее имя. Для меня хозяин Пушка навсегда дядя Миша. То есть не навсегда, конечно, а пока жива я, его-то, дяди Миши, как и Пушка, давно нет на свете.

Пушок был лайкой. Все атрибуты этой породы – белая в чёрных пятнах, густейшая и длинная (в пять моих «взрослых» пальцев) шерсть, аккуратные треугольные и слегка округлые ушки, острая мордочка – все признаки были налицо, кроме главной особенности – хвоста колечком. Вместо хвоста зад Пушка был скромно прикрыт чёрным шерстяным треугольнич-

ком – тем, что от хвоста осталось. Дядя Миша объяснил, что хвост Пушку переехала машина. С тех пор и до конца своих дней Пушок люто ненавидел все ненадолго заезжающие во двор машины и мотоциклы, гнал их до самой улицы Боткинской, лаял до хрипоты и возвращался со злыми, красными от утомления глазами, возмущённо пофыркивая, как добела раскалённая печка. Казалось, что от его шерсти во все стороны летели искры. На его счастье, машины в наши дворы заезжали крайне редко, например, скорая помощь к чьей-нибудь бабушке, вызванное кем-то такси или нещадно тарахтящий мотоцикл дяди-Мишиного приятеля. Наверное, сейчас, когда машины устилают собой, кажется, всю земную поверхность, Пушок сошёл бы с ума! Впрочем, он был не настолько глуп, чтобы сходить с ума, вернее, слишком умён, чтобы с ума не сходить. Действительно, ведь он не терпел транспортные средства только в своём дворе и совершенно спокойно шествовал, как сейчас помню, по тротуару Боткинской, не обращая никакого внимания на проносящиеся мимо машины. «Пушок, ты что тут делаешь?» – спрашивала я, идя рядом. Пушок молча повиливал своим треугольничком. «На море ходили!» – нас догнал дядя Миша. «А что, Пушок купается?» – удивилась я. Пушкова шерсть и после купания была, как обычно, суха и наэлектризована. «А как же! Вон какая жара!»

Пушок с дядей Мишей обитали не в нашем, девятнадцатом, а в соседнем дворе за номером двадцать один, называемом «морским», потому что там, в двух сравнительно новых, послевоенных двухэтажных домах жили работники порта. Семья моего друга Алёши – мама, папа, две бабушки и дед – приехала в Ялту из Ленинграда. Все, кроме бабушек-пенсионерок, работали в порту. Мама и папа, оба высокие, сухопарые, белокурые, светлоглазые, похожие как брат и сестра, – инженеры. Интеллигентные, приветливые, но в то же время и сдержанные, немного закрытые, как бы застёгнутые на все пуговицы в отличие от вечно полуголых, расхристанных, громкоголосых и грубых ялтинцев. У каждого жителя «морского» двора внутри, казалось, был спрятан некий жёсткий стержень вроде тонкого и гибкого прутика дрока. Родители Алёши представлялись мне типичными ленинградцами, да, наверное, таковыми и были. Дед – ростом пониже и крепкий, коренастый – служил, кажется, начальником порта, именно его перевели из Ленинграда, а за ним переехала вся семья. Алёша, как и родители, светлоглазый, со слегка вьющимися русыми волосами, – полутора годами моложе меня. Лет через пять родился его брат Максим.

Я встретила родителей Алёши и Максима спустя пятьдесят лет, вернее, сама пришла к ним во двор. Они оказались единственными из оставшихся там старых жителей. «А вы помните Пушка?» – спросила я. Конечно! Вот тут-то и оказалось, что хозяина Пушка звали вовсе не Мишей. А как?.. Я мгновенно забыла, как – Виктор?.. Николай?.. Для меня он навсегда останется дядей Мишей. А ещё оказалось, что дядя Миша был кагэбэшником, то есть заведовал в порту «первым отделом», проверял грузы, ловил контрабанду… вот откуда спортивная, она же военная выправка! «Но он был очень хорошим, порядочным человеком», – как бы извинилась за него мама Алёши. Не стоит извинения! Даже в перестройку и в сумасшедшие девяностые я была далека от мысли, что все сотрудники КГБ непременно «расстреливали несчастных по темницам». В детстве профессия дяди Миши меня особо не интересовала. Нет, я вовсе не думала, что он моряк, капитан, мне было достаточно того, что он работник порта, все они были порядочными, хорошими, добрыми, просто замечательными людьми, как мой дедушка Миша, как папа… Совсем не то, что дразнившие меня дети наших соседок – уборщиц, официанток, санитарок, посудомоек – и их запойных мужей. И конечно, в три года я не могла понять, что такое «первый отдел». Но то, что хозяин Пушка – человек порядочный и не просто хороший, а очень хороший, было ясно и так. Плохому человеку такой пёс, как Пушок, достаться не мог.

Пушок был необыкновенной собакой – это признавали все. При этом он играл с нами «в войнушки» как самый обычный пёс, то есть с лаем носился по дворам, обширному «морскому» и примыкающему к нему двадцать третьему номеру, который таинственным образом распространяется не вширь, а вглубь, к последнему на нашей улице дому номер двадцать пять.

Каждый из нас, считая Пушка своим личным другом, отдавал приказания, и Пушок умел слушаться сразу всех. Как умудрялись мы, постоянно между собой враждовавшие, не ссориться из-за Пушка? Наверное, это удавалось, потому что существовал Верховный главнокомандующий в лице дяди Миши. Когда он выходил из квартиры или, чаще, возвращался с работы и коротко говорил: «Пушок, пойдём», пёс мгновенно бросал все занятия и деловито трусил за хозяином. Игры «в войнушки» происходили обычно по вечерам, перед закатом солнца. В его лучах розовела поднимаемая нами пыль.

Такими я и запомнила летние вечера моего детства: солнце вот-вот закатится за синеватые горы, в дымно-солнечных столбах пляшут пылинки; абрикосовая штукатурка «морских» домов становится глубже, насыщенней; ещё строже смотрят молчаливые, тянущиеся к темнеющему небу почти чёрные, глухо-зелёные кипарисы; а за домом Алёши, за добротными каменными сараями, на так называемой «горке», под высокими каштанами и старыми раскидистыми шелковицами уже царит полумрак. Дальше за «горкой», за редкими металлическими прутьями забора, отделяющего нашу Чеховку, бывшую Виноградную, от улицы Кирова, бывшей Аутской, простираются неведомые края. Вообще-то, я прекрасно знаю эти дворы улицы Кирова, бывала там не раз, но отсюда всё кажется неведомым, таинственным и, как джунгли, опасным. С «горки» видны огромные ливанские кедры, тисовые заросли, пальмы у входа в похожий на замок большой серый дом. Немного позже я узнаю, что это и есть замок «в псевдоготическом стиле», бывшая вилла «Омюр», где когда-то около полугода жил Чехов. А за забором слева – садик двадцать пятого номера, здесь попроще, по-домашнему, такие же, как в «морском» дворе, обычные сливы и вишни, под ними в окружении побелённых булыжников – ирисы, бархатцы, левкои… Сюда лучше приходить ранним утром, когда солнце, обогнув Алёшин дом, с трудом продравшись сквозь буйную растительность, обогнув непроницаемые, толстые, пыльно-зелёные листья шелковиц и расцветив снизу, изнутри кроны, резные листья каштанов, вдруг осветит какой-нибудь неприметный цветок, листик, травинку с повисшей на ней капелькой росы… Как-то мне приснился удивительный сон: я стою на этом самом месте, перед забором, а за ним вместо привычной картины чудесный лес. Огромные, как на картинах Шишкина, сосны. Дубы – не корявые и кривые, упрямо карабкающиеся по скалам крымские «пробковые» или «каменные», а русские, богатырские дубы, вроде Ильи Муромца или Добрыни Никитича. На широком круглом пне застыла янтарная смола; около пня притулился, скромно прикрывшись коричневой шляпкой, гриб-боровик; под деревьями густая и сочная трава в росе; сквозь ярко-зелёный, на вид мягкий и пушистый травяной ковёр сквозят алые ягоды земляники; утреннее солнце посверкивает на росинках… и стою я, замерев, перед этим чудом, а вот и забора, отделяющего меня от чудесного леса, уже нет, и стоит сделать один только шаг, перешагнуть чётко очерченную границу: здесь – клочковатая, повытоптанная, пожухлая трава, плоские запылённые ладошки подорожников, блекло-голубые, будто нацепленные на кривоватую колючую проволоку цветки цикория, сухая и твёрдая крымская земля с вдавленными в неё мелкими обломками морских ракушек… а там… и стоит сделать только шаг… но я не сделаю его, я знаю, что сплю.

Взрослые говорили, что хотя Пушок – собака необыкновенного ума, но тем не менее не может отказать себе в удовольствии и время от времени душит кур каких-то отчаянных бабок, упорно не желающих расстаться с птицей, несмотря на недавно вышедший указ. Держать живность в курортном городе отныне запрещалось. Кажется, именно указом отговаривался дядя Миша, когда куровладелицы подступали к нему с претензиями. Самих птиц я совсем не помню, только разговоры о них в связи с Пушком, но до сих пор в подробностях вижу рябой куриный помёт на асфальте вперемежку с чернильными кляксами шелковиц, череду дровяных сараев, отделяющих наш девятнадцатый номер от «морского» двора, аккуратные клумбы в розах, ирисах и гладиолусах, которые поливает из шланга бабушка карапуза Эдика. Я рада ей. Ранним и свежим летним утром во дворе только мы с Пушком да она. Эдик ещё спит. Поколебавшись, я

рассказываю бабушке Эдика о своих недавних наблюдениях. Не замечали ли вы, что все люди похожи на каких-то животных? Вот, например, наша соседка, приземистая, жёлто-смуглая, в жёстких чёрно-седых спиралевидных кудряшках тётя Катя-гречанка похожа на черепаху, а крупная, полная Марья Николаевна, чьи родители в двадцатых годах переехали в Ялту откуда-то с Рязанщины, напоминает добрую корову, особенно из-за сивых косиц, уложенных на голове корзинкой, – торчат как рога! И в этом нет ничего обидного, просто похожи, а звери – все хорошие, ведь правда? Бабушка Эдика соглашается. «А Эдик, ваш внук, – маленький носорог…» – я со страхом жду, что бабушка Эдика обидится за носорога, но она не обижается и, размышляя, наверное, о своём, задумчиво повторяет: «Да, маленький носорог…»

По-видимому, я злоупотребляла пребыванием в «морском» дворе, а мать, кажется, ревновала меня к нему. Задумавшись, что было моим естественным состоянием, или снова и снова припоминая чудесный сон, я часто не слышала, что меня зовут. Как-то мать примчалась в «морской» двор – мы с Пушком беседовали, сидя в песочнице, – и начала, замахиваясь на меня, кричать. Пушок страшно зарычал и с лаем бросился на неё! Мне было четыре года. Пушку – год. Мать не испугалась, но умилилась. И тут же торжественно пообещала Пушку, что больше вести себя так не будет: «Пушок, пёсынька, извини, она не идёт, а я волнуюсь, я так замотана…» Пушок сразу поверил и даже, перед тем как снова улечься в песочницу, в знак примирения вильнул хвостом. Я знала свою мать лучше и не поверила, но всё равно была почти счастлива.

А вот мне семь лет, Пушку – четыре. Он взрослый, солидный пёс, но по вечерам по-прежнему играет с детьми, а утром обходит соседей. В каждой квартире его угощают чем-то вкусненьким, не дают только сахара – дядя Миша запретил. Вернее, запретил это он только мне – я постоянно таскала Пушку рафинад почти с самого его рождения. Дядя Миша сказал: ему вредно, зубы испортятся. Отныне, когда не знающие о запрете соседи предлагают Пушку сахар, он отворачивается, хотя до того обожал и мог проглотить сколько угодно. Теперь мне это кажется удивительным, а тогда было так естественно – дядя Миша сказал мне: «сахар нельзя», а присутствовавший при этом Пушок понял и подчинился.

Пушок принимал соседские подношения с большим достоинством. Создавалось впечатление, что он приходит вовсе не за едой, а просто навестить, пообщаться. В самом деле, ведь дядя Миша прекрасно его кормит! Мне казалось, что Пушок особенно любит гостить у нас на веранде, неторопливо грызя косточку. Как-то мать со словами «Пушок, пёсынька…» взяла Пушка на руки. Пушок нисколько не сопротивлялся, но на морде его отразилось такое недоумение, что мать, сказав: «Извини, голубчик», поспешно опустила пса на пол. Так мог смотреть небольшого роста, но здоровый и сильный молодой мужчина, если б его вдруг, приняв за ребёнка или инвалида, вздумала взять на руки эксцентричная барынька.

И вот Пушок, грызя косточку, лежит у нас на веранде, а мы с матерью с нежностью смотрим на него. Сейчас, благодаря Пушку, мы едины, это такая редкость! «Ляля, Леночка! Пушок у вас?» – доносится со двора голос другой Кати, не гречанки, а молодой хохлушки, чрезвычайно толстой, как сало розовой, гладковолосой, похожей на упитанную хрюшку. Как-то один из курортников, молодой парень, вынес во двор раскладушку и улёгся в плавках – загорать. Катя подняла страшный крик: «Неприлично! Тут вам не пляж! Понаехали! Милицию вызову!» После ленивого переругивания парень оделся и ушёл. «Да он и без плавок был бы приличнее, чем она одетая!» – в сердцах сказал мой отец, наблюдавший сцену из окна кухни. После этого мы с матерью стали звать Катю за глаза свиньёй, о чём она, конечно, не догадывается, но нас всё равно терпеть не может и делает нам, по словам матери, какие-то гадости, как, впрочем, и все остальные соседи… но сейчас мы ничего этого не помним, нас всех объединяет любовь к Пушку и друг к другу. «Ляля, Леночка! Пушок у вас? Его Миша ищет!» – зовёт Катя. Пушок вопросительно смотрит на дверь. «Да, да, Пушочек, иди!» – поспешно говорит мать. И я про себя как Фауст: «Мгновение, повремени!» Я понимаю, что сейчас все мы, шестидесятилетний

Миша, тридцатилетняя Катя, сорокалетняя Ляля – моя мать, я – семилетняя и четырёхлетний Пушок, – все мы сейчас без возраста, вне времени, вне коммунальной вражды, соседских пакостей, мелочных забот, неутолённых обид, бесплодных мечтаний… Сейчас, благодаря Пушку, мы одинаково праведны, прекрасны, совершенны, мы все пребываем в гармонии, мы любим друг друга, и всё это называется коротким словом – рай.

Пушок дожил до семнадцати лет. Когда студенткой я приезжала на каникулы из Москвы, Пушок радостно узнавал меня после годового отсутствия. А я неприятно удивлялась медленным, но неуклонным переменам: сначала на Пушке появился ошейник, потом я всё чаще заставала его лежащим около будки на цепи. Раньше этот правильный мохнатый параллелепипед, из-под которого торчали тонкие белые лапки, невозможно было представить в ошейнике. Шею Пушка ещё надо было отыскать в дремучей шерсти. А уж цепь, будка… но я не стала спрашивать дядю Мишу, зачем всё это. Было ясно: так надо, изменились неумолимые времена. Мгновение, повремени!..

Рекс

Мне пять лет. Я дружу с Пушком, но неожиданно в моей жизни появляется новый пёс. Он «приблудился» – непонятно, как попал на нашу улицу. Может быть, потерялся? «Наверно, потерялся», – соглашается папа. Ошейника на псе нет, но нас это не удивляет – Пушок тоже всю жизнь разгуливает без ошейника. Собаке не больше двух лет, это восточноевропейская овчарка, возможно, не вполне чистокровная. Так мы с папой решили. Я называю моего пса Рексом. Он охотно откликается, бегает за мной по нашим дворам, наверное, готов исполнять какие-то команды, но мне даже не приходит в голову командовать Рексом (со временем выяснится, что я вообще не способна никем командовать), я просто разговариваю с ним, как с Пушком, как с кошкой Мухой, как – очень редко – с папой, потому что он всегда на работе…

Рекс живёт под нашей верандой, и я регулярно ношу ему туда еду. Почему-то мне не приходит в голову пригласить Рекса в квартиру. Почему? Ведь Пушок к нам часто заходит. Впрочем, приводить Рекса в квартиру нет необходимости – на дворе лето, причём самая лучшая его пора – конец мая, начало июня. И Рекс прекрасно себя чувствует под верандой.

Почему-то я совсем не помню, как ладили Рекс и Пушок. Ведь совершенно точно, что я бегала с Рексом по всем окрестным дворам, большую часть времени проводя, конечно, в любимом «морском». Собаки ни разу не подрались – это я бы запомнила. С другой стороны, как могли «подружиться» два молодых кобеля, один из которых – законный хозяин всех дворов в округе и всеобщий любимец, а другой – пришлый беспризорник? Я думаю, что умные псы сохраняли настороженный нейтралитет. Миролюбивый Рекс не переходил какие-то невидимые, установленные Пушком границы, а Пушок из любви ко мне терпел деликатного чужака.

Рекс прожил под верандой всё лето и так же неожиданно, как появился, пропал в конце августа. Я страшно горевала. Пришёл сентябрь. Наш двор и всю улицу усыпало бело-жёлтыми цветками акаций или софоры – они чуть-чуть различаются формой листьев, но я так и не научилась запоминать, где какие. И вот как-то под высоченной акацией или софорой, за лёгкими пластмассовыми столиками «Кулинарии», что на углу Чехова и Боткинской, напротив двадцать третьего номера и ныне утраченной, а тогда уже разрушающейся дореволюционной колоннады, два дядьки пьют пиво и беседуют. У ног одного из них лежит, положив голову на лапы, молодая восточноевропейская овчарка и посматривает на меня умными, каштанового цвета глазами. Пёс в ошейнике, на поводке. Не Рекс ли? Я долго кручусь около дядек, вдыхая противный, кислый запах пива и соблазнительно-раздражающий – воблы. Они не обращают на меня внимания. Я решаюсь спросить, какой породы собачка. «Восточноевропейская овчарка», – отвечает дядька, сдувая пену. Рекс! Потерявшийся и через три месяца нашедший хозяина Рекс! Я стесняюсь спросить, как теперь зовут Рекса. Не прошу разрешения «погла-

дить собачку», хотя мне этого ужасно хочется, а главное, как мне кажется, этого очень хочет Рекс. Он лежит, поглядывая на меня умными карими глазами, и, кажется, говорит: «Я бы рад тебя узнать, но, извини, не имею права – служба!» Какая такая служба может быть у Рекса, я не задумываюсь, но знаю, что потом могу придумать всё, что угодно, – книг прочитана тьма, на все случаи жизни. Но мне сейчас не до книг… Неумолимо приближается страшный миг: дядьки допивают пиво, обтирают губы тыльными сторонами ладоней и уходят в сторону Боткинской, продолжая громко разговаривать… я не слышу, о чём, я смотрю на уводимого Рекса. Он уходит, не оглянувшись.

Папа сказал убеждённо: «Конечно, это был Рекс. Он нашёл хозяина!» И не стал узнавать меня, чтобы не расстраивать хозяина? «Вне всякого сомнения!» – ещё более уверенно говорит папа. Я чувствую в его чрезмерной убеждённости какую-то фальшь. Значит, он не очень уверен (да и как можно быть абсолютно уверенным!), но решил меня не расстраивать подобно тому, как Рекс не захотел огорчать своего хозяина. Я живу с этой мыслью больше пятидесяти лет и вдруг сейчас, когда пишу эти строки, ужас охватывает меня: эта фальшивая, наигранная бодрость оттого, что папа знал, что случилось с Рексом! Знал, но уже ничем не мог помочь! Рекса мог извести наш враг Воробейчик, ведь Рекс спал у самого его окна… Господи, кто сказал, что писательство помогает изжить комплексы! Какое там! Оно услужливо подсовывает нам новые! Мне давно не у кого узнать, почему пропал Рекс и… страшно и, наверное, кощунственно об этом думать, но… если, как утверждала моя бабушка, мы встретимся на том свете с нашими родными, прежде чем рассказать папе о его правнуках Алисе и Ярославе и о моих книгах, я спрошу о Рексе. И до той поры, на этом свете, мне покоя не будет.

Дэзик

Некая справедливость требует, чтобы я рассказала о часто поминаемом Воробейчике и его собачке. Вечно сидящий у окна своего полуподвала под нашей деревянной, оплетённой глицинией верандой, тяжело дыша, но всё равно непрерывно шмаля вонючие папиросы, он напоминал гигантскую жабу. Но мы не звали его жабой – яркой фамилии было достаточно. У Воробейчика есть жена, тётя Лида или Воробейчиха, высокая, полная, сырая, тоже одышливая. Говорят, у неё астма. Детей у них нет, а есть пёсик Дэзик, противная и визгливая красноглазая болонка, кажется, тоже вечно задыхающаяся. Иногда, с целью выгуливания Дэзика, Воробейчик сидит не у окна, а во дворе, за общим деревянным столом, который давно перестал быть общим, а перешёл в полновластное владение маленькой, тощенькой, но говорящей хриплым пропитым басом тёти Веры. Правда, сидеть за столом никому не возбраняется, тем более что каждый, присаживающийся, как он думает, на минутку, непременно машинально скручивает из разложенных на столе пластмассовых запчастей два-три цветка и нередко так увлекается, что просиживает за цветами весь вечер. Искусственные цветы – основное тёти-Верино занятие, если не считать сдачи комнаты курортникам. Сама она со взрослыми сыновьями – на время выпущенным из психбольницы Вовой, которого все во дворе без всякой толерантности зовут «наш сумасшедший», и старшим сыном Борисом, недавно вышедшим из тюрьмы, – ночует в сарае. Тётя Вера, как и Воробейчик, непрерывно дымит, зажав в стальных зубах янтарный мундштук. Как раз за столом, скручивая розы или ромашки, я поинтересовалась у Воробейчика, что за имя такое – Дэзик. «Дэзий, конечно, от женского “Дэзия”», – высокомерно отвечал Воробейчик с таким видом, будто Дэзия – так же общеизвестно, как Маша или Лена.

Не помню, чтобы Дэзик «гулял». Он всегда сидел на руках Воробейчика или рядом, на лавке, и смотрел, казалось, страдающе, умоляюще, своими красными глазами с противными мутными подтёками. «Аркадий!» – с придыханием зовёт из тёмного окна Воробейчиха низким, булькающим голосом, в котором тоже слышится страдание, и Воробейчик с Дэзькой на руках, обдав на прощание сидящих за столом ядовитым вонючим дымом, исчезает в подвале.

Я была совсем мала, когда стала свидетельницей любопытного скандала между Воробейчиком и Аликом, сыном тёти Кати-гречанки. Вообще, скандалы с криками, угрозами, проклятиями случались часто, если не сказать постоянно. И почти всегда с участием Воробейчика. Воробейчиха же с началом любого конфликта поспешно скрывалась и всё время скандала отсиживалась в подвале, несмотря на хриплые, но зычные крики тёти Веры, призывающей в свидетели: «А вот Лида видела! Лидия Тимофевна!..»

Теперь я думаю: из-за чего ссорились эти люди? Ненависть к нам понятна: мои родители были единственными «интеллигентами», людьми с высшим образованием, да ещё занимали самую большую, лучшую квартиру в доме, а Воробейчик, тётя Вера и Катя-«свинья» жили под нами и нашей соседкой Марьей Михайловной. Но что могли не поделить остальные? И почему в скандалах принимали участие не только подвальные жители, но и весь двор, в том числе, например, довольно удалённый от подвала Борис Афанасьевич? Он, кстати, тоже был фигурой любопытной, о чём я узнала позже, лет этак в десять. Помню крупного, полного, с толстыми ляжками дядечку, в белом кепи с приколотым цветком (не тёти-Вериным искусственным, а настоящим, живым). Он только что пришёл с набережной и, всплёскивая короткими ручками, что-то оживлённо, восхищённо («Ах, какая прелесть!..») рассказывает публике, по обыкновению собирающей за столом цветы. Мать, смеясь, как-то вспомнила, что когда-то по весне, «ещё до твоего рождения», заходящие в наш двор посторонние прямо-таки столбенели: «А это что такое?!» Свои же давно привыкли: в глубине двора, в окне второго этаже была выставлена на солнце голая задница! Борис Афанасьевич объяснял, что он по совету врача лечит радикулит, принимает солнечные ванны. Эту практику ему пришлось прекратить после того, как пришли из милиции с постановлением: выселить из Ялты за гомосексуализм. Борис Афанасьевич бегал по соседям, собирал подписи в свою защиту: «Ах, какое несчастье! У меня племянники в Севастополе… какой позор!.. Это может повредить им по службе…» Мой дедушка да, должно быть, и многие другие пожалели севастопольских племянников, подписали, и Борис Афанасьевич остался. Ясно, это было до водворения во дворе Кати-«свиньи» и Воробейчика! Уж они не спустили бы…

Ссору Алика с Воробейчиком я запомнила лишь потому, что удивилась: какие могут быть споры между стариком и совсем молодым Аликом, которому в ту пору, наверное, не было и тридцати. «Я участник войны! – хрипло орал Воробейчик. – И ты, мерзавец, не имеешь права…» – «И где ты воевал? – спросил Алик насмешливо. – В Ташкенте?» Почему-то это невинное и закономерное, на мой взгляд, уточнение вывело Воробейчика из себя, он страшно захрипел и затрясся. Мать объяснила мне, что Воробейчик, конечно, ни одной минуты не воевал, а во время войны действительно находился в Ташкенте, но не в эвакуации, как многие, и что совсем не считается позором, особенно с учётом Воробейчиковых болезней и явной негодности к строевой службе. Воробейчик так взбеленился оттого, что поговаривают, будто в Ташкенте он был не в эвакуации, а в ссылке, на поселении, потому что ещё до войны работал где-то бухгалтером и «проворовался». Кроме того, в Ташкенте или, возможно, по месту своего неудачного воровства Воробейчик оставил жену и детей ради того, чтобы поселиться в ялтинском подвале с задыхающейся Воробейчихой и гаденьким Дэзиком. Уже гораздо позже, когда Алик женился, Воробейчик отомстил ему, обозвав «вечным приживалом». И Алик точно так же, как когда-то Воробейчик, затрясся в бессильной злобе. К сожалению, и это было правдой. Симпатичный, горбоносый, кудрявый, похожий на античного бога Алик после школы поступил в институт в Симферополе, но быстро бросил и перебивался случайными заработками, а большей частью просто торчал во дворе. Его мать, тётя Катя-гречанка, всю жизнь проработала санитаркой в грязелечебнице, а жена Люда – продавщицей. Уже тогда, в начале шестидесятых, исподволь начала складываться каста нигде не работающих, а только «сдающих комнату», с чем советская власть по мере сил боролась. Бедный Алик был первой ласточкой тогда ещё низшего, презираемого сословия. Сдавать жильё считалось привилегией пенсионеров. Теперь

же растёт третье поколение с юных лет сдающих, нигде никогда не работавших и, на манер американских безработных, не видящих в этом необходимости, не считающих безделье чем-то зазорным. И эта каста правит балл, к сожалению, не только в моём старом дворе…

Увы, вижу, что о болонке, именем которой я назвала эту главу, мне не удалось рассказать почти ничего. Могу лишь добавить, что ещё в детстве я понимала, что Дэзик, в общем-то, ни в чём не виноват и вызывает у всех – и у взрослых, и у детей – непреодолимое отвращение не столько из-за подслеповатых затёкших глаз, старости и плешивости, сколько из-за личности хозяина, Воробейчика. Можно было бы не останавливаться на этом малозначительном эпизоде из моего детства, но противненький Дэзька был типичной моськой и как бы предварял собой появление другой, уже нашей, то есть маминой моськи – Пифиньки.

Пифинька

В то лето, когда я перешла в пятый класс, мы познакомились на Желтышёвке с Ритой. Кажется, так её звали: Рита, Маргарита, отчества не помню. А Желтышёвкой назывался пляж под Приморским парком, куда мы с матерью, высидев с раннего утра под деревьями на использовавшихся в качестве подстилки пикейных одеялах, спускались часа в два, перед обедом. Только совсем недавно я прочитала в какой-то из книжек о «старой Ялте» за авторством моей одноклассницы Ларисы Лысовой, что до революции этим небольшим участком тогда вполне дикой земли владел некто Желтышёв.

До отказа набитый отдыхающими, гомонящий пляж раздражал. Противно пахло подкисшими на солнце арбузными корками (меня тоже пичкали арбузом и прочими фруктами – до сих пор некоторые фрукты есть не могу!), осы вились над камнями в бело-коричневых подтёках мороженого, а из-под мелкой гальки и песка то и дело выворачивались закопанные огрызки яблок… Зато вечерами пляж был совсем другим, сравнительно чистым, почти пустым – выкупаться после работы приходили только ялтинцы, а до мяса обгоревшие курортники в это время, по-видимому, забывались болезненным послеобеденным сном с тем, чтобы, когда стемнеет, вылезти на набережную продолжать свою хлопотливую, безумную, для нас очень смешную курортную жизнь.

По вечерам я с удовольствием, сидя на лежаке, смотрела то в книгу на коленях, то на начинающий лиловеть горизонт, на шёлковую, муаровую гладко-розовую воду, на дымки теплоходов в порту, на освещённую последними жёлтыми лучами часовню на Поликуровском холме… всё дышало покоем. И пичкали меня уже не ненавистными, истекающими липким соком перезрелыми фруктами, а крутыми яйцами, помидорами и бутербродами с сыром и колбасой – к ним я относилась гораздо лучше.

Рита, симпатичная, невысокая, округлая дамочка лет тридцати пяти, в ржаво-медных завитках «химии», приходила на пляж с двумя пёсиками породы тибетский терьер. Как и моя мать, она была учительницей, только не биологии, а музыки, и потому каждое лето пребывала в двухмесячном отпуске, казавшемся мне, как и мои каникулы, бесконечным. Я любила школу, а сидения в парке и купания под присмотром матери терпеть не могла. Была у Риты старенькая, больная, не выходившая из дому мама, а не так давно был и муж, с которым пришлось развестись. Если верить Рите, муж ревновал её к маме, к преподавательской работе и высшему образованию (сам, кажется, работал водителем), к приходившим на дом ученикам, к музыке, к роялю и даже к пёсикам: «Стоит мне выйти из комнаты, берёт их к себе на диван, гладит, а зайду – сразу гонит их, говорит, что противные, жалуется, будто они сами к нему лезут…»

В сентябре произошло то, что я, никогда не претендовавшая на лавры пророчицы, давно смутно предчувствовала: Рита подарила нам щеночка от своей парочки «тибетцев» – пушистого, бежево-кремового, очаровательного. Чёрная пуговка носа, пара весёлых коричневых пуговок-глаз под мохнатой чёлкой и хвостик колечком. Разумеется, считалось, что это «для

Леночки», хотя все понимали, что Леночка тут ни при чём. Тем не менее я отнеслась к щеночку с большой симпатией и в школе говорила, что подарили мне, «моя собака». Правдоподобная иллюзия поначалу поддерживалась тем, что назвали пёсика по моему предложению – Пиф. Это было прозвище моего одноклассника Игоря Капитонова – соломенные волосы, эмалево-голубые глаза, нос картошкой или той же пуговкой, что у щенка. В классе четвёртом Игорь вдруг стал Ломакиным, видимо, его мама вторично вышла замуж. «Я назвала в честь тебя мою собаку», – любезно сообщаю Ломакину (а может, он в то время был ещё Капитоновым?). Капитонов со сдержанным удивлением поднимает пшеничные брови: «Как? Собака – Игорь?» Я смеюсь: «Не Игорь, а Пиф!», а Ломакин (или Капитонов) с деланым равнодушием, с достоинством пожимает плечами.

Чистопородный тибетский терьер Пифинька (так его сразу стала называть мама, а вслед за ней и мы с папой) был, несомненно, очень умной собачкой. Рита говорила, что дедушка Пифиньки служил в цирке. Наверное, его следовало как-то правильно воспитывать, дрессировать, но у нас из него только и могла вырасти моська типа Дэзика. Пифинька оказался сладкоежкой и вообще страшным обжорой, и мать не жалела для него конфет, печенья и прочей гадости. Правда, жирным и одышливым Пифинька не стал, потому что мама, на его счастье, очень любила ходить пешком и во все времена года, кроме лета, когда нельзя было сидеть в Приморском парке и на пляже, таскала нас с Пифинькой то на Ай-Петри, то в дальний Массандровский парк, то на кладбище к дедушке и бабушке. Как раз на кладбище-то и выяснилось, что Пифинька за конфетку готов продать с потрохами любимую хозяйку. Мы пошли с банками на речку за водой для цветов, поручив уже взрослому, двухлетнему Пифиньке стеречь вещи. Вернувшись, не нашли ни Пифиньки, ни вещей. Впрочем, Пифинька быстро отыскался в кустах под лавкой у соседнего захоронения, а к нам подошёл симпатичный дядька со всем остальным нашим имуществом: оказалось, что, получив жалкую ириску, Пифинька тут же бросился в кусты пожирать её, оставив доверенные ему ценности, включая собственный поводок, на милость потенциального грабителя.

Однако я забегаю вперёд. Но стоит уж, кстати, сказать, что примерно тогда же, когда Пифиньке исполнилось два года, Рита с собачками навсегда уехала из Ялты. Мама её умерла, и она решила вернуться на родину, в город Днепропетровск. Через полгода пришло письмо. «Ольга Михайловна, – писала Рита, – надеюсь, что Вы меня поймёте и не осудите. Я осталась совсем одна и решилась на усыновление. Теперь, когда возвращаюсь с работы, за мной ходят две собаки и Надежда». Далее Рита писала, что её Наденька – типичный продукт детдомовского воспитания, почти не говорит, хотя ей уже четыре с половиной года, но она уверена, что всё будет хорошо. Я тоже была в этом уверена и радовалась за Риту, но мать была прямо противоположного мнения: «Вот дура Ритка! И как только додумалась?! Брать чужого ребёнка…» После чего следовала длинная тирада о том, что замужество, семья и дети – страшное зло, а единственный настоящий друг, единственный, «кто меня любит и кого люблю я», – обожаемый Пифинька!

Конечно, всё это отвращало меня от симпатичного пёсика. Тем более он и вёл себя как типичная избалованная моська. Например, возвращаюсь из школы и вижу через стеклянную дверь, что Пифинька сидит посреди комнаты на большом обеденном столе. Глазам своим не верю! Открываю дверь, захожу. Действительно, кудлатый, блохастый, грязнущий – разлёгся на полированной поверхности. Сентябрьский день выдался жарким. И не собирается слезать!

Постепенно я перестала обращать на Пифиньку внимание. Казалось, оно ему и не нужно. Он ведь постоянно играет с кошкой Мурочкой, а когда её не стало, появился кот Шустрик… Правда, папа, заметив моё не слишком доброжелательное отношение, как-то сказал, как бы между прочим: «Напрасно! Он хороший пёс! Ну и что, что моська? Зато добродушный, не то что злющая Мушка…» О Мушке я была наслышана. Чёрный шпиц, едва не оставивший меня без глаза! Под бровью навсегда остался шрам. В год от роду я полезла к Мушке под кровать,

она меня и цапнула. Я спросила, зачем завели такую злобную собачонку. Папа пожал плечами: «Ну как же! Твои дедушка и бабушка купили моську для Лялечки…»

Не обращала я внимания на Пифиньку и позже, когда стала студенткой и приезжала в Ялту сначала два раза в год, на зимние и летние каникулы, а потом и вовсе – только летом. Да и он, вежливо вильнув при первой встрече своим пушистым колечком, больше на меня не реагировал. Кота Шустрика уже не было в живых, да Пифинька уже, кажется, и не нуждался в играх, лежал себе и лежал на диване или под столом… И вот как-то в один из дождливых августовских дней (что случались очень редко, но становились для меня настоящей трагедией, потому что нельзя было бежать на пляж, уже не на Желтышёвку, а на ещё более дальний, называемый почему-то «батареей») я от нечего делать, от скуки, от моросящей дождливой тоски вздумала погладить валяющегося тут же на диване Пифиньку. Он сначала смотрел сурово, непонимающе. Я продолжала гладить и, кажется, пробормотала что-то ласковое: «Пифинька, старичок…» Псу было уже около десяти лет. И тут он наконец понял. С псом сделалась истерика. Как он прыгал, как визжал, как лизал мне руки! Каким сумасшедшим счастьем светились его карие глаза! И как невыносимо стыдно было мне. Стало очевидно, что все эти годы он любил меня, наверное, гораздо сильнее, чем баловавшую его хозяйку, ведь я была «ребёнком»! Моська Пифинька с радостью был готов отдать за меня жизнь, а я… Наверное, ему было бы легче, если бы я его наказывала, обижала, даже била, но я не замечала его, обращалась как с тряпкой, половичком… Как же мне было стыдно! Никогда я не испытывала такого жгучего стыда ни перед кем из людей. Вот разве только ещё один раз, и не перед человеком, а тоже перед собакой, псом по имени Чарли. Но о Чарли речь впереди.

Пифинька прожил долгую жизнь. Семнадцать лет. Говорят, хороший возраст для маленькой собачки. Судьба подарила ему ещё один звёздный час. Когда Пифиньке было около тринадцати лет, родился мой сын. Старый, давно ко всему равнодушный пёс очень долго, месяца три, не понимал, что за свёрток каждый день носят мимо него на улицу и обратно, для кого на крыльце поставлен новый предмет – коляска. И вдруг в какой-то момент сообразил: этот свёрток – живое! Это человек, ребёнок! Пифинька прыгал, визжал и радовался, как щенок. А через три с половиной года не кто иной, как мой сын, проводил престарелого пса в последний путь. Я приехала в Ялту, как всегда, летом, в отпуск. Сын отвёл меня в сторону и значительно, трагическим шёпотом, как бы по секрету, проинформировал: «Пифинька заболел, его отвезли в больницу, сделали ему в попу укол, и он умер».

Джипси

Предчувствия, что оставшуюся жизнь мне предстоит коротать не с собаками, а с кошками, оправдались. Да и мои скромные возможности, не позволявшие завести собаку, совпали с желанием, вернее, нежеланием брать на себя обузу. Ведь с собакой надо гулять, как минимум два, а то и три раза в день. Жизнь в подмосковном академгородке Курослеповка (зашифрую её так), куда меня распределили после московского химического вуза, оказалась такой сумасшедшей, что было не до выгуливания собак. Конечно, в этом была виновата я сама – слишком серьезно относилась к обязанностям сначала аспирантки, а потом «мэнээса», младшего научного сотрудника, чрезвычайно боялась шефа, а тот, как и все на свете шефья, почувствовав трепетное к себе отношение, и рад стараться, гонял меня как сидорову козу. Да и квартиру мы с мужем получили, только когда мне стукнул тридцать один год. До того жили в общежитии. Правда, собаками я никогда не переставала интересоваться. Вот идём как-то втроём с работы – шеф, мой друг, как и я, «мэнээс» Эдька Байер, и я плетусь. Час самый «собачий», около девяти вечера, тёплые июньские сумерки. Нам то и дело попадаются независимо гуляющие псы, и где-то далеко, почти неразличимо маячат на горизонте их хозяева с поводками в руках. «Лена, а это что за порода?» – Эдька прерывает нескончаемую беседу с шефом о науке вообще

и о завтрашнем синтезе в частности. «Ризеншнауцер». – «Ага», – отзывается Эдька, провожая рассеянным взглядом чёрное мохнатое существо, и снова обращается к шефу: «А что если нам завтра, прежде чем поставить перегонку…»

Шеф возбуждённо толкует о перегонке и о том, что за ней последует… «Лена, а это какая собака?» – снова отвлекается Эдька. «Спаниель», – я тихо радуюсь, что меня не грузят проблемами завтрашнего дня. «А это?» – «А это просто пудель!» – «Ишь ты ка-акой! А я думал, болонка… а что если нам завтра…» Постояв на обочине с поднятой лапой, «просто пудель» исчезает в кустах чубушника. «Чарли! Чарли! Где ты?!» – доносится из сумерек обеспокоенный хозяйский клик и проносится тёмная фигура в белой кепочке, светлой ветровке и с длинным, как вожжи, поводком на плече… И вот уж на нас надвигается корабельной громадой десятиэтажный прямоугольник родного общежития, вон там, на седьмом, уютно светит жёлтым и моё окно. Соседки, Лера и Наташа, давно дома, счастливицы, пьют чай, болтают… Скорей, скорей домой!..

Квартиру мы с мужем получили в самом конце восемьдесят девятого года. Теперь-то, казалось, не до собак, выкормить бы ребёнка и выжить самим. Нет, неправда, не совсем так это было. Страхов много пережили, а вот реального голода, на наше счастье, так и не случилось. По крайней мере, у нас, в благословенной Курослеповке. В Москве-то, говорят, когда позакрывались заводы и отраслевые НИИ, все инженеры и «мэнээсы» подались в «челноки» и торговлю на «Черкизоне», а наши академические институты как работали, так и работают до сих пор. Нам даже зарплату ни разу не задержали! И хотя была она чисто символической, мы выжили, чего уж пенять… До последнего советского, уж не помню какого, года каждую неделю получали привозимые из Москвы продуктовые заказы. Там и мёрзлая курица в качестве главного приза, и банка тушёнки, и шпроты, и кило гречки, и кус «Голландского» или «Российского» сыра, и круг полукопчёной «Краковской» колбасы, а иногда даже палка сервелата или салями. Не говоря уж о том, что ни на миг не закрывалась институтская столовая, но я, обзаведясь семьёй, считала невозможным, неприличным посылать мужа и ребёнка в общепит.

Так и вижу своего шефа при получении заказов! Субботний вечер. Асфальтовый пятачок прямо под окнами общежития. Институтский автобус с продуктами ещё не подъехал, хотя понятия «пробка» в те годы на подмосковных дорогах не существовало. На пятачке клубится народ с пустыми пока авоськами и болоньевыми мешками. Моего шефа с томно полузакрытыми глазами и отсутствующим выражением лица (наверняка мечтает о понедельничном синтезе!) носит мятущейся толпой, как по волнам, из стороны в сторону… *«По волнам моей памяти, исчезая в этих волнах…»* – как звучала в московском общежитии на десятилетие раньше пластинка с композитором Давидом Тухмановым… Удивительно цельной личностью был мой шеф, единственный из знакомых не имевший хобби! Правда, перестроечные журналы и его ненадолго сбили с панталыку, стал наш шеф почитывать «Новые миры», «Наши современники», всякие там «Октябри». Я даже как-то ненадолго заслужила его благосклонность, принеся в лабораторию стопку журналов «Юность» с аксёновским «Островом Крымом». Ратовал шеф, как и все мы, наивные идиоты, за капитализм, за конкуренцию, при этом обзывая меня советской бездельницей, совершенно непригодной к работе в новых условиях, разумеется, совершенно замечательных, прогрессивных, единственно возможных…

С кончиной советской власти заказы прекратились, но пооткрывались частные магазинчики в подвалах жилых многоэтажек, и я на всю жизнь запомнила, как регулярно отоваривалась в одном из них полуобглоданными костями с комками желтоватого жира и спутанными прядями сухожилий по цене 117 рублей за килограмм. Жир и сухожилия перекручивала на фарш для котлет, из костей варила бульоны для супов и борщей, в общем, считаю, что питались мы с мужем, ребёнком и котом Тихоном вполне прилично. Приехавшая из Воронежа свекровь как-то отстояла очередь и с выражением вдохновенного счастья на враз помолодевшем лице принесла огромную связку макарон, размерами и цветом напоминавших поленья. Мы сразу

запихали их на антресоли и больше не притрагивались. В общем, материальная база позволяла завести собаку, но никому из нас это не приходило в голову, тем более что регулярно наезжавшие к нам свекровь и моя матушка даже Тихона не одобряли. Свекровь раздражённо спросила: «Зачем он вам нужен?» и немедленно получила исчерпывающий ответ внука: «Без кота не живу». Вторая же бабушка о нашем пристрастии к котам знала не понаслышке, против Тихона в принципе ничего не имела, но сильно раздражалась его многоречивостью: «Чего он всё время орёт?» Действительно, Тихон непрерывно очень громко и басовито с нами общался: «Мур-м-м! Мя-яу! Мур-м-м! Мя-я-ау!» Мы хором объяснили, что Тишенька так разговаривает, и ему, конечно, есть что рассказать при его необыкновенном уме. Бабушка ничего не ответила, но, понаблюдав за Тихонычем в течение дня, сделала вывод: «Котик, конечно, того… Но вы его ещё и плохо кормите!» Я оскорбилась до глубины души, а бабушка стала кидать Тихону сырое мясо, не без труда мной добытое и предназначавшееся, естественно, для людей. Тихон, давясь, жрал очень долго. Потом против обыкновения не стал умываться, а молча, с трудом взобрался на стул и проспал целые сутки. «Как крепко спит животное! – с удовлетворением заметила бабушка. – Вот как надо кормить кота, чтобы не орал!» Стоит ли говорить, что Тихон покушал подобным образом первый и последний раз в своей жизни, а мы укрепились во мнении, что кота нам более чем достаточно, собака же совершенно ни к чему.

А вот мужнин приятель Терновский, несмотря на наличие двух детей-младенцев и обоснованные протесты квартировладелицы-тёщи, купил-таки щеночка овчарки на Птичьем рынке. Симпатичную восточноевропейскую псину назвали Радой. Надо сказать, что в те баснословные позднесоветские времена, когда первые компьютеры стояли только на работе, даже мы, молодые учёные, работали строго пять дней в неделю. Правда, мой шеф заикнулся было, что по субботам следует ходить в библиотеку, но уж дудки! Все выходные и праздники мы предавались многочисленным «хобби». Вот и Анька Терновская опять-таки, невзирая на мамины протесты, в один прекрасный день купила по объявлению рояль. Предполагалось устраивать домашние концерты: Анька будет играть на рояле, мой муж – на скрипке, прочим, в том числе не перестающей саркастически улыбаться Анькиной маме, отводилась роль музыкальных критиков и благодарных слушателей. Первый же концерт сорвала Рада – принялась страшно выть! Честно говоря, её можно было понять: музыка, производимая дуэтом, походила на скрежет железа по стеклу! «Что такое? Как это?! Не может быть!» – изумлялся мой муж, окончивший музыкальное училище. Играет он один свою скрипичную партию – замечательно! Анька, учившаяся некоторое время в музыкальной школе, исполняет свою – тоже весьма достойно. Заводят вместе – хоть из дома беги! И Рада, мирно дремавшая под отдельно взятые скрипку и пианино, при первых же «железо-стеклянных» звуках завывает, как бешеная волчица… Долго разбирались, пока не выяснили, что ноты для фортепиано и скрипки, добытые Анькой в её «музыкалке», написаны в разной тональности. На том, кажется, концертная деятельность и закончилась. А Рада выросла в добродушную собачерию, хотя Терновский, кажется, втайне надеялся, что она будет свирепым волкодавом.

В один из мирных сентябрьских дней середины девяностых я обнаружила под дверью лохматого чёрного щеночка. Очевидно, подбросили. Попытки пристроить его к знакомым не увенчались успехом, почти все имели малолетних детей и продолжали терзаться уже ставшими привычными страхами в ожидании голода. Мои домашние на щенка согласились, но без восторга. Сын заявил, что согласен на собаку, если только она не будет ущемлять интересов Тихона, муж тоже не возражал, но категорически отказался с собакой гулять. Ни сейчас, ни в будущем. На домашний совет призвали опытного собаковладельца Терновского. Он авторитетно заявил, что собачка породистая, колли, и она – девочка. Против этой породы мы ничего не имели, вспомнили только, что чёрные колли относительно редки, рыжие встречаются чаще, а вот в связи с полом щеночка муж и сын разом вскричали: «Как “девочка”?! А это что?», на что Терновский так же непререкаемо и небрежно бросил: «Ну, это у него… то есть у неё… такой

пупочек…» – «Странно, – задумчиво проронил муж, – ведь и у меня почти такой же… хм… пупочек…» Я убежала в кухню и продолжения разговора не слышала. Впрочем, пол щенка особого значения не имел, потому что собачку по моему предложению назвали Джипси, что в переводе с английского значит «цыган» или «цыганка», без различия пола.

Оказалось, что с собакой жить крайне тяжело. Всю ночь щеночек скулил и просился в кровать, и мы брали Джипси к себе, и всю ночь не могли уснуть, опасаясь (не без оснований!), что она напрудит в постель. С появлением нового члена семьи кот Тихон стал уходить гулять на всю ночь, но каждое утро непременно являлся к завтраку. Джипси встречала Тихона очень радостно: мчалась за мной в коридор и, пританцовывая вокруг входящего кота, виляла крошечным хвостиком. Тихон взирал на собачку с брезгливым недоумением. Недоумение сменялось возмущением, когда я накладывала в кошачью миску еды, а Джипси с энтузиазмом бросалась пожирать предназначенный для Тихона корм, не обращая внимания на свою, точно такую же полную миску, и, отталкивая кота, вылизывала тихонскую миску до блеска. Железная миска при этом начинала подпрыгивать, греметь и уползать из-под Джипсиной морды, а Тихон с ужасом смотрел на неё, время от времени переводя на меня исполненный горестного вопрошания и упрёка взор.

Ещё хуже обстояло дело с гигиеной. Несколько раз на дню я выходила с Джипси во двор, но, несмотря на прогулки, собачка постоянно оправлялась в квартире. После возвращения из Москвы, а я два раза в неделю ездила на работу в редакцию, меня ожидала ужасающая картина: весь пол в комнате устилали в почти правильном шахматном порядке кусочки газеты, которыми, в свою очередь, были накрыты многочисленные кучки и лужицы. Муж и сын категорически заявили, что лоскутки газет – это всё, что они могут сделать для меня и Джипси. Надо было что-то предпринимать! «Может, подарить её дяде Вите?» – предложил сын. Ну, конечно! Дяде Вите только Джипси не хватало! Наш друг женился на студентке-москвичке, у них родился сын, мама Вити приехала из Казахстана помочь молодой семье… Все обитали в однокомнатной куркслеповской квартирке и, понятно, были крайне недовольны друг другом.

Всё-таки Джипси родилась под счастливой звездой. В первый же мой выход в субботу на куркслеповский рынок с Джипси в обувной коробке и надписью на картонке (вырезанной из крышки той же коробки): «ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ» к нам подошёл мальчик лет тринадцати, выразил желание купить щеночка и тут же вытащил из кармана не помню уж какую, но не слишком малую по тем нищенским временам сумму. Я умилилась, деньги принять категорически отказалась (мальчик сказал, что деньги ему выделили родители специально для покупки щенка), сообщила, что щеночка зовут Джипси, что значит «цыганка», потом вспомнила, что, когда отдают котёнка, с будущих владельцев берут символический рубль, чтобы кот прижился (может ведь и убежать, если что не по нему). Правда, мне пришлось взять не рубль, а минимальный эквивалент такового. В начале девяностых мы, кажется, расплачивались миллионами. И крикнула уже вслед мальчику, уходящему с Джипси на руках: «А вы сами откуда?» Оказалось, из Дядькино, деревни, что в пятнадцати километрах от Куркслеповки.

Вопреки ожиданиям семья встретила меня без ликования. Судя по всему, они надеялись, что Джипси вернётся – никому же не придёт в голову в голодные времена брать щенка! – да и просто было совестно, что отказались, но свалить вину по привычке решили на меня. Муж, хмурясь, выслушал мой восторженный рассказ о милом мальчике из Дядькино и вдруг разразился попрёками: а если мальчик приобрёл Джипси для мучительства, для живодёрства?! Мне такое в голову не могло прийти, а мужу пришло по понятной причине. Он, в отличие от меня, непрерывно смотрел телевизор, изобиловавший в режиме нон-стоп невероятной чернухой. После скандальной разборки (тоже в духе телевизионных передач типа небезызвестного Андрея Малахова, тогда только становившегося на крыло) было решено завтра же втроём ехать в Дядькино на поиски Джипси.

Стоял чудный тёплый золотистый октябрь. До Дядькино доехали за десять минут. Деревня оказалась маленькой. Я вознамерилась у каждого дома спрашивать, где живёт мальчик, вчера купивший в Куроспеповке щенка, но не пришлось. Он сам меня окликнул: «Тётя, здравствуйте! Вы Джипси проведать приехали?» – «Да, где она?!» – возопила я истерическим голосом. «А вот… только он мальчик!» Из будки выкатилась Джипси. Она выглядела абсолютно счастливой, даже, кажется, успела поправиться за одни сутки. Обрадовавшись, я по инерции возразила: «Нет, девочка…» – «Тётя, вы что?!» – мальчик, смеясь, указал на пресловутый «пупочек». Муж смутился, но сделал вид, что он тут совершенно ни при чём. Из дома вышли родители мальчика. Муж, нервно поправляя очки, принялся оправдываться: вот, решили прогуляться, всё равно воскресенье, погода хорошая, но, кроме того, хотели узнать (тут он непроизвольно повысил задрожавший голос), какие у вас условия для содержания щеночка, он ведь породистый, колли, как нам объяснили специалисты… «Какая там колли! – добродушно засмеялся отец мальчика. – Чистопородный дворянин!» Муж снова сделал вид, что он тут ни при чём, но про себя, судя по всему, помянул недобрым словом шутника Терновского. Хозяйка, смеясь глазами, стала рассказывать, что в Дядькино Джипси будет гораздо лучше, чем «у вас в Куроспеповке»: вот и будку для него новую построили, и двор, сами видите, большой, и корова своя, и козы, молоко каждый день, и мясо всегда будет, куры у нас, утки, гуси, кабанчика держим, не волнуйтесь, прокормим вашего Джипси!.. Мы удалились успокоенные. Автобуса решили не ждать, шли пешком по обочине шоссе, осыпаемые летучей золотой листвой…

Ральф

Как-то зимой я возвращалась из Москвы поздно вечером, в густых синих сумерках. За моим стоящим на пустыре домом полыхал на горизонте карминный закат, зеленоватое небо вокруг было исчерчено тонкими лимонно-жёлтыми и сиреневыми полосами. Я пошла к дорожке, проложенной в высоком, мне по грудь, сугробе. Отражавшееся на его искрящейся белой поверхности закатное небо казалось сполохами северного сияния. Я остановилась заворожённая. Оглянулась. За моё плечо заглядывал тонкий серп месяца. Я вдохнула, готовясь взобраться с обочины шоссе на протоптанную в сугробе тропинку, подняла глаза и… остановилась. Вверху, занимая весь узкий проход меж двух снежных стен, стоял громадный лохматый пёс и внимательно смотрел на меня. Кавказская овчарка. Пёс глядел с доброжелательным интересом и даже, мне показалось, с каким-то особенным, восторженным удивлением. Мне он тоже был и приятен, и симпатичен. Так и стояли мы, очарованные друг другом, будто под северным сиянием, словно на опушке сказочного зимнего леса, и было нам хорошо. Так стояли бы и стояли в оцепенении, в мечтательной задумчивости… пока не раздался сверху смеющийся женский голос: «Ну, что, Ральф, пойдёшь, наконец, или так и будешь на Лену смотреть?» Ральф оглянулся, завилял хвостом и посторонился, давая мне дорогу. Голос принадлежал моей хорошей знакомой, Нине. Несколько лет назад они с мужем переехали в Куроспеповку из Норильска. Наверное, это они привезли с собой нынешнюю обильную снегом морозную зиму и воспоминание о северном сиянии. А Ральфа завёл их живущий в Москве сын, но не справился и сбагрил пса к родителям. У нас вообще так принято – в Куроспеповке ведь собакам лучше, чем в Москве!

С тех пор я дважды в день с удовольствием наблюдала из окна кухни, как Ральф идёт с Ниной, а чаще с её мужем Виктором, по нашему пустырю в сторону леса. Точнее, Ральф, как правило, бежал впереди и в лесу гулял сам по себе, по собственному маршруту, убегая подчас очень далеко, а перенёсший инсульт Виктор, прихрамывая, медленно брёл по опушке с поводком в руках и Ральфа никогда не звал. Тот сам время от времени выныривал из-за какого-нибудь куста или сосны – для спутников Виктора всегда неожиданно, дамы непременно испуганно вскрикивали. Знакомые поговаривали, что у Ральфа и Виктора имеются известные

только им точки, условленные явки, где они, как шпионы, встречаются, чтобы удостовериться, что друг с другом всё в порядке, а потом снова расходятся. «Пока Ральф приглядывает за Витей, можно не волноваться», – говорила Нина.

К сожалению, Ральф прожил недолго, и мы не успели как следует подружиться. Нина с Виктором сильно горевали, но их в утешение тут же наградили другой собакой. На этот раз пса сбагрил не сын, а дочка, и не кавказскую овчарку, а белого в чёрных пятнышках далматинца по имени Лаэрт. Именно Лаэрту пришлось сыграть определённую роль в моей дружбе с замечательным псом по имени Чарли.

Чарли

Встречали новый, 2001 год и, соответственно, новый век и новое тысячелетие. Все буквально сходили с ума. Я поддалась всеобщему безумию и позволила друзьям затащить себя на встречу старого Нового года в местный Дом культуры, высокопарно именуемый Большой гостиной Дома учёных. Тем более что дома меня ждал только сменивший Тихона не менее умный кот по имени Кузя: с мужем я развелась, а сын стал студентом и в означенное время сидел в общежитии МГУ, готовясь к очередному экзамену.

В Большой гостиной меня чаще других приглашал танцевать некий Анвар Фатыхов, а потом вызвался проводить. Оказалось, мы живём в одном доме, в соседних подъездах. С лёгким упрёком Анвар поведал, что давно и хорошо меня знает, поскольку в течение всех десяти лет существования нашего дома время от времени встречает меня во дворе. Анвар, кстати, и строил наш многоквартирный, девятиэтажный, десятиподъездный дом, будучи бригадиром так называемого комсомольско-молодёжного строительного отряда. А я его почему-то ни разу не видела! Мне стало неловко. Честно призналась, что обычно погружена в свои мысли, по сторонам не смотрю, соседей не замечаю, зато знаю всех окрестных собак и кошек! «А я как раз гуляю с большой собакой, немецкой овчаркой, ты не могла нас не заметить!» – воскликнул Анвар. Пойманная на слове, желая доказать, что знаю Анварову собаку, хотя никаких овчарок в нашем дворе, хоть убей, не могла припомнить, я согласилась продолжить знакомство и даже, поскольку тогда ещё не была прозаиком, написала такое стихотворение:

* * *

Моему соседу Анвару Фатыхову

В Большой гостиной Новый год встречаем,
Знакомых и друзей круговорот,
Твой мудрый пёс всё это понимает,
И ждёт меня мой верный старый кот.

Так и живём в одной кирпичной клетке,
Что выстроил в московских ты полях.
В одной степи гуляли наши предки,
Твой – властный хан и мой – спесивый лях.

У нас в роду кривые сабли, копья,
Ведь ты – ордынец, и казачка – я.
Обильно потом сдобрена и кровью

Вся наша неделимая земля.

Сквозь дым веков мы видели воочью:
Кричал мулла, закат ломился вширь
От Волги к западу, где украинской ночью
Мой предок-пономарь читал Псалтирь.

В заботах вечных о любви и хлебе
Проходит год и век очередной.
Тысячелетие в одном и том же небе
Мой крест горит и полумесяц – твой.

Анвару, кажется, очень польстило сравнение с ордынцем и властным ханом, потому что месяца через полтора, в начале марта, в период самой промозглой сырости и непроходимой грязи он позвонил, сказал, что простудился, и упросил вывести погулять его пса. Чарли оказался здоровенным кобелём самого свирепого вида, но смотрел доброжелательно. Я соврала, что помню его, встречала во дворе, и тут же запаниковала: «Как же с ним гулять? Он же не будет меня слушаться! Убежит куда-нибудь…» – «Если спустить с поводка, конечно, может убежать. Не спускай! А в остальном… не бойся! Вот увидишь: ты с таким мужчиной ещё никогда в жизни не гуляла!» Я так волновалась, что не обратила внимания на последнюю фразу. Однако Анвар оказался прав. Чарли с великим тщанием обходил все многочисленные колдобины и промоины, после каждой поворачивал ко мне огромную свою, размером с собачью же будку, башку и лучащимися от счастья глазами спрашивал: «Удобно ли тебе, уютно ли тебе, девица?» Не я с ним гуляла, он вёл меня, выбирая самый безопасный путь, да ещё поминутно справлялся – хорошо ли мне, комфортно ли. Действительно, такое было впервые за мою сорокалетнюю жизнь. Стоит ли говорить, что с тех пор я старалась использовать любую возможность, чтобы погулять с Чарли. Тем более очень скоро наступила настоящая весна.

Первая наша самостоятельная прогулка в лес тоже не обошлась без волнений. Анвар предупредил, что Чарли может убежать, но водить его целый день по лесу на поводке представлялось бессмысленным. Надо было решаться. Синий прозрачный воздух над окрестными полями стремительно теплел, дрожал, колыхался ломкой переливчатой фольгой, вдоль горизонта тянулась нежно-сиреневая полоса леса – почки готовы были раскрыться… Сидеть дома или уныло таскаться по городу, наводя ужас на прочих собак и вводя в раздражение их нервных хозяев? Нет, невозможно! Мы отправились.

Я спустила его с поводка, только когда мы ушли довольно далеко от города. И действительно, Чарли сразу убежал вперёд и, хотя всё время держался в пределах видимости, на мои призывы не подходил и смотрел дерзко. Я разозлилась и решила, что буду гулять «сама по себе», как кошка, а этот пёс… пусть как хочет! Пёс с ним! Стала делать вид, что вообще о нём забыла, смотрела на небо, нюхала почки, вспомнив, что через пару дней – Вербное воскресенье, наломала ивы… Чарли ко мне не подходил, но и далеко не убегал, всё время держался на определённой дистанции. Часа через три, когда мы возвращались, уже на подходе к городу, я с замиранием сердца, как ни в чём не бывало, позвала: «Чарли! Чарли!» Пёс, будто только того и ждал, радостно замотал хвостом, устремился ко мне и с видимой охотой позволил надеть на себя «сбрую». Похоже, он проверял меня «на вшивость», и проверку я прошла.

С тех пор на радость Чарли и его хозяину мы гуляли очень часто, благо позволяла моя работа переводчика с «присутственными» днями два раза в неделю. Вот идём утречком по двору – Чарли уже без ошейника и поводка, самостоятельно, я со всей амуницией в руках в нескольких метрах позади. «Здравствуй, Арчи! – обращается к Чарли дворник. – А где

Фарид?» Чарли с удивлением смотрит на дворника, а я уточняю: «Он не Арчи, а Чарли, а Фарид – не Фарид, а Анвар!»

В самом деле, как можно было дать мужественному псу, немецкой овчарке, кличку, что более пристала какому-нибудь несерьёзному пуделю или вечно дрожащему то ли от холода, то ли от страха карликовому пинчеру! Помнится, я высказала своё недоумение Анвару ещё при первом знакомстве: «Какой же он Чарли!» Анвар тогда парировал, что Чарли – уменьшительное имя, а вообще-то он – сэр Чарльз, эсквайр. После разговора с дворником я снова завелась: «Вот видишь! Никакой он не Чарли! Конечно, Арчи тоже не совсем то, но всё-таки лучше… Надо было назвать его… назвать его… Анчар! Тогда бы и тебя никто Фаридом не обзывал, все помнили бы, что ты Анвар…»

Наверное, эти разговоры произвели какое-то впечатление на Анвара, потому что следующего своего пса он назовёт не Анчаром, правда, а Арчи, но это случится ещё не скоро, а пока мы с Чарли наслаждаемся прогулками. Надо сказать, что гуляла я не только ради собственного удовольствия – дальние, желательно на целый день походы были жизненно необходимы Чарли. Анвар держал продуктовый магазинчик, несколько лет назад ездил вместе с Чарли на склады за мёрзлыми «окорочками Буша» и имел глупость иногда оставлять пса на всю ночь, зимой, в кабине машины. Чарли получил жесточайший артрит всех четырёх лап, причём пожизненно, болезнь эта не поддаётся лечению ни у собак, ни, насколько я знаю, у людей. Трудно описать, как радовался пёс, когда я за ним приходила! Выйдя во двор, Чарли отчаянно хромал на все четыре лапы, не шёл, а ковылял. Но постепенно выправлялся, а часа через полтора уже бежал как молодой лось.

Анвар, конечно, не преминул воспользоваться нашей с Чарли дружбой и постоянно ею злоупотреблял. Мобильников у нас ещё не было, и потому, вернувшись с прогулки, мы нередко обнаруживали, что хозяина нет дома. Шли в его магазин – там тоже нет. Должно быть, он в гараже, на другом краю города, а мы с Чарли уже нагулялись, нам обоим пора обедать. Что ж, я приводила пса к себе. Кот Кузя с шипением взлетал на шкаф и оттуда с ненавистью следил за Чарли. Тот же чувствовал себя превосходно. Ему вообще чрезвычайно у меня нравилось. Первым делом я наливала для Чарли борща в кошачью миску. Он слизывал борщ одним движением языка. Следовал ещё один половник – тот же широкий взмах языком и счастливое выражение на морде. В конце концов Чарли съедал всю трёхлитровую кастрюлю, а я разводила руками: «Извини, дорогой, больше ничего нет!»

Отобедав, Чарли неторопливо шёл в комнату и становился перед шкафом на задние лапы. Кузя, забыв, что должен шипеть, в ужасе забивался в угол: было очевидно, что Чарли при желании легко может его там достать, но не желает, просто считает нужным обозначить свои возможности. Чтоб кот знал своё место. Я садилась за компьютер, а Чарли разваливался рядом на ковре. Через минуту я начинала задыхаться – от Чарли исходил мощный запах псины, да ещё и артритные лапы изрядно пованивали. «Чарли, голубчик, иди полежи в кухне… или в прихожей!» – начинала я умолять, но Чарли, продолжая смотреть на меня лучезарным взглядом, не двигался. А вот если я сама шла в кухню или в другую комнату, Чарли тут же поднимался и следовал за мной.

Поздно вечером приходил Анвар. Тут оказывалось, что Чарли домой не хочет. Ему и здесь хорошо. Анвар долго и безуспешно звал его строгим голосом из прихожей. Чарли, продолжая лежать на ковре, безмятежно глядел на хозяина и только слегка повиливал хвостом. Наконец Анвар придумал, как обхитрить умнейшего пса. Вызвал меня в прихожую, поставил рядом с собой и, нахмурившись, стал замахиваться и делать вид, что бьёт. Я стала свидетельницей ещё одного чуда: Чарли заворчал, с трудом поднялся и потащился к нам с явным намерением меня защищать! Анвар тут же ловко накинул на него «сбрую» и вытолкал в коридор. Я проводила их до лифта. Спросила:

– Как же он собирался меня защитить? Он же не может укусить хозяина?

– Кусать, наверное, не стал бы, но пытался бы оттеснить, толкал бы, рычал, ты же видела… – Двери лифта захлопнулись.

Кстати, в полуподвальном магазинчике Анвара, куда мы регулярно наведывались, если не заставали хозяина дома, тоже не обходилось без приключений. На ступеньках, ведущих в подвал, обычно сидели коты. При нашем появлении они, разумеется, исчезали. Но вот как-то большой чёрный кот, видимо, желая произвести впечатление на кошек, решил остаться. Мы подходим – распушившийся кот сидит на третьей сверху ступеньке и рычит. Ничего, думаю, он же не дурак, успеет отпрыгнуть в последний момент, уж я-то знаю, как они умеют прыгать. И вдруг в этот самый «последний момент» Чарли разевает пасть и… На несколько мгновений я впала в ступор: из сомкнутых челюстей Чарли с одной стороны выглядывает шипящая кошачья башка, с другой стороны свисает чёрный хвост и задние лапы! А кот-то громадный! Как он мог поместиться в Чарлиной пасти? «Зачем это ты?! Брось!» – крикнула я, выходя из ступора и ожидая, что сейчас из пасти Чарли вывалятся две окровавленные половинки кота, а во рту собаки всё, конечно, тоже окажется расцарапанным, изорванным… Чарли с готовностью разжал челюсти, оттуда с шипением вывалился целый и невредимый кот и в мгновение ока скрылся, задев мою ногу когтем задней лапы. Я была в плотных джинсах, но сразу же почувствовала, как из-под колена горячей струёй хлынула кровь. На морде же Чарли – ни царапины! А сам так и светится от счастья. «Зачем это он?» – повторила я вопрос Анвару. Он пожал плечами: «Да так, для интереса, развлечься…» Отныне мою левую ногу украшает память о Чарлином «развлечении» в виде изогнутого белого шрама под коленкой.

Вскоре я познакомила Чарли с моей подругой Тамарой, большой любительницей пеших прогулок. Правда, Тамара, в отличие от меня, каждый день ходила на работу, но зато уж в субботу и воскресенье мы втроём, что называется, «отрывались по полной». Анвар приводил мне Чарли пораньше, часов в девять. Перед тем как отправиться в лес, я обязательно заводила Чарли в комнату сына, приезжавшего на выходные из общежития:

– Иди сюда, Чарлинька, посмотри, как Сева спит!

– Очень редкое зрелище! – бормочет Сева, пряча улыбку.

Чарли подходит, кладёт морду на край дивана и радостно машет хвостом. Сева, очень довольный, продолжает улыбаться в подушку, хотя и делает вид, что мы мешаем ему спать, а я чувствую примерно то же, что в детстве, с Пушком, – гармонию, умиротворение, блаженство. Кстати, по уму, душевности и прочим выдающимся способностям Чарли можно было сравнить только с Пушком.

В один из наших первых походов, когда уже начали распускаться почки, но деревья вдали всё ещё казались не зелёными, а сиреневыми, пошли мы втроём – Чарли, Тамара и я – в дачный посёлок под названием «Озон». Шли краем леса, огибая большое заброшенное поле, и предавались приятным «воспоминаниям о будущем»: летом это поле, как и в прошлом году, должно быть всё покрыто ромашками и васильками. Обязательно надо прийти сюда летом! Где-то вдалеке на фоне сиреневых стволов мелькнул рыжий лисий хвост. И вдруг глядь – впереди нас по тропинке скачет толстый бурый заяц. Точнее, не скачет, а плетётся нога за ногу, да ещё время от времени останавливается и сидит, жмурясь на солнце. Чарли на зайца – ноль внимания. Мы пошли медленнее. В конце концов вдоволь налюбовались на зайца и заскучали. «Чарли, – говорю, – ты ведь охотник. Смотри, дичь бегает! Давай, догоняй!» Чарли вздохнул и нехотя затрусил за зайцем. То и дело останавливается и оглядывается на нас. Мы подбадриваем: «Давай! Давай!» Заяц тоже всякий раз останавливается и оглядывается на Чарли. После каждой остановки оба двигаются всё медленнее. За нами идут дачники, человек пять, и угорают со смеху. Кончилось дело тем, что заяц свернул в кусты, а Чарли с видом исполненного долга побежал к нам. Теперь я думаю: может, то был не заяц, а сбежавший кролик?

Как-то летом Тамара повела нас в дальнюю деревню с симпатичным и редким названием Щекавцево. Через пять часов пути по лесной дороге из-за деревьев начал доноситься много-

голосый лай. Это и было Щекавцево. По мере нашего приближения лай становился всё более интенсивным и истерическим. «Сколько же там собак?» – думала я, с неудовольствием представляя, как деревенские собаки будут на нас кидаться. Хорошо, если все привязаны. А если нет? Чем отбиваться? Может, не ходить? Когда мы вышли на опушку, неожиданно наступила мёртвая тишина. Мы вступили в деревню. Она казалась вымершей. Торжественно шествовали по улице. Ни одной собаки. Только три-четыре кота сидят на заборах и, когда мы проходим, привстают, выгибают спину и шипят. Осмотрели деревню и тем же порядком проследовали обратно. Только зашли в лес, снова послышался лай. На этот раз менее истерический, скорее растерянно-виноватый. Что за чудеса? Собаки как минимум за полкилометра почувствовали приближение Чарли, устроили истерику, а потом так испугались, что все до одной попрятались и не подавали голоса, пока он не ушёл?

Обратно возвращались в сумерках. Без Чарли в такое время в лесу было бы страшновато, а тут мы чувствовали себя полновластными хозяйками, лесными владычицами… Только вот ноги уж очень болели. Чарли шёл бодро, хотя, наверное, тоже устал. Нас догнала семья – молодой папа с тремя детками. «Собачка, собачка!» – самый маленький стал бесцеремонно хватать Чарли за хвост, за шею… Я не успела испугаться. «Не трогай! Собачка усталая, голодная…» – подоспел папа. Но Чарли и не собирался обижать ребёнка, перебирая огромными лапами, выступал будто добрый Серый Волк из сказки. А к натруженным ногам и лапам путников ластилась трава, деревья неслышно смыкали ветви над головами, и уже издалека, из тёмной и тёплой летней синевы мягко светились огни Куроспеповки…

Между прочим, когда один странноватый прохожий, направлявшийся, как и мы с Чарли, в лес, вздумал провести рукой по спине пса, тот заворчал и страшно клацнул зубами. Я с криком «Чарли, фу!» бросилась на помощь. К счастью, парень с отрешённым лицом прошёл, не оглянувшись, и Чарли успокоился. Я поделилась с Анваром. «Так Чарли же – санитар леса! Мужик-то наверняка пьяный был или под наркотой…»

Было и ещё происшествие. Уже в июле. Мы вышли к маленькому полю, окружённому с трёх сторон лесом. Тамара углубилась в лес, а мы с Чарли рассеянно бродили по меже, рассматривая колоски и пытаясь понять, что за культура здесь произрастает. И кто её культивирует? Колхозов-то давно нет… Откуда ни возьмись на лесной дороге возник жигулёнок. Ехал он довольно медленно, но когда водитель заметил меня, то поддал газу. Резко остановился, взметнув облако белой пыли. Из машины вылез очень худой дядька с безумным взглядом, в грязных тренировочных штанах и светлой майке с кровавыми пятнами. Потом-то я сообразила, что пятна происходят, скорее всего, от раздавленных комаров, но возникшие в первый момент смутные ассоциации были крайне неприятными. Последний месяц вся Куроспеповка толковала о маньяке, что завёлся в окрестных лесах. Дядька бросился ко мне и… наткнулся на Чарли, ранее скрытого от его глаз неведомой полевой культурой. По-видимому, предполагаемый маньяк не был ни пьяницей, ни наркоманом, потому что Чарли смотрел на него спокойно, даже доброжелательно. «Маньяк» же ужасно растерялся. Стоял перед нами, пучил глаза, разевал рот и не знал, что сказать. Выручила его вышедшая из леса Тамара с несколькими колосками в руках. Дядька перевёл на неё взгляд, пробормотал что-то вроде «Что вы тут ходите, пшеницу рвёте, не для вас посажена…», опрометью бросился к машине и был таков.

Вообще я таскала Чарли за собой повсюду, куда только можно было. Например, на пляж. А пляжей в нашей благословенной Куроспеповке как минимум три. Один – несомненно лучший – на берегу дальнего, Северного озера. Второй – худший – в центре города, там в покрытом ряской пруду плещется малышня. Этот пляж годится только на то, чтоб забежать выкупаться по дороге с работы. Мы с Чарли ходили на средний – у подножия песчаной горы, так называемой Песчанки, на берегу запруженной речки Куроспеповки. Вода здесь коричневая от торфа, но чистая, проточная. Чарли немедленно забирался в речку по горло и мог стоять так часами, напоминая блаженно улыбающегося крокодила. По-видимому, больным лапам в прохладной

воде становилось легче. Правда, часами стоять я ему не давала, поскольку Анвар забеспокоился, что Чарли простудится и в придачу к артриту наживёт ещё какую-нибудь болезнь. Но сладить с Чарли было непросто. При словах «Чарли, выйди из воды!» он немедленно повиновался, выходил, отряхивался, обдавая присутствующих радужным фонтаном брызг, и тут же заходил снова. «Конечно, ему ведь не сказали: “Выйди и никогда больше не заходи…”» – со вздохом заметил кто-то из моих друзей. Впрочем, я произносила и такую фразу, но успеха она не имела, то есть действовала как простое «выйди».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.